

[Polaris]

Виктор  
ИРЕЦКИЙ



# НАСЛЕДНИКИ

Роман

**POLARIS**



**ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА**

**CCLXVIII**



**Salamandra P.V.V.**

**Виктор  
ИРЕЦКИЙ**

# **НАСЛЕДНИКИ**

Роман

**Salamandra P.V.V.**

## **Ирецкий В. Я.**

Наследники: Роман. Подг. текста М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 250 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLXVIII).

Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882-1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольф-стрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольф-стримом и «роковых страстей».

Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П. Пильского и Ю. Айхенвальда.

© Author, estate, 2018

© M. Fomenko, подг. текста, 2018

© Salamandra P.V.V., оформление, 2018

# НАСЛЕДНИКИ

**Часть  
первая**

Тот номер газеты, в котором было напечатано сообщение о Шлезвиге и Голштинии, Ларсен с глубоким вздохом спрятал в черную шкатулку, предназначенную для заветных сувениров. Здесь уже лежали: выцветший дагерротип, изображавший самого Ларсена в детстве, крохотная Библия, подаренная ему дедом, и железный перстень покойного брата матери, смелого и отважного моряка, служившего в Вест-Индской компании. Были еще другие мелочи, уплотнявшие невозвратное прошлое, и таким же невозвратным представлялось Ларсену отторжение двух областей, перешедших к Пруссии. Итак, маленькая Дания стала еще меньше.

Заложив руки за спину, Ларсен долго бродил по саду и сокрушенно беседовал с самим собой. Кругом в зеленом золоте предвечернего солнца трещали и бесновались птицы, ошалело и страстно звенели насекомые.

С женой о таких вещах, как родина, не к чему было разговаривать. Она хотя и числилась датчанкой, но на Ютландском полуострове никогда не была и говорила на каком-то международном языке, в котором пестро сплетались английские, испанские и другие слова. Да и вообще: невзгоды, тревоги, огорчения и печали Ларсен научился переживать в одиночестве, давно усвоив истину, что всякая откровенность свидетельствует о слабости и, значит, умаляет. Колониальная же политика всегда рекомендовала своим деятелям неукоснительно демонстрировать мужественность, хотя бы это стоило большого труда. Да и, наконец, что ей Дания! Заунывные песни туземцев, попутай и приторные улыбки старух со светло-оливковым цветом лица были ей в тысячу раз дороже Копенгагена, которого она никогда не видела. И если Ларсен, гуляя по саду, вспомнил о жене, то вовсе не для того, чтобы разрешить свои сомнения на этот счет, — поделиться с женой своими огорчениями или нет, — а только лишь с целью еще раз признать самому себе,

что он безнадежно одинок, и поэтому все решения надо брать на себя.

Но какие решения мог на себя взять живший на Соломоновых островах негодант Ларсен в связи с тем, что Пруссия после победоносной войны откромсала у несчастной Дании две богатые провинции? Что мог он сделать против этого? Допустим даже, что Ларсен, будучи при больших деньгах, действительно мог себя считать богачом, но неужели же он предполагал при помощи своих средств компенсировать территориальные потери его родины? Нет, разумеется, об этом не думал. Это он ясно понимал, что его трехсот тысяч долларов никак не хватит для восстановления Дании. Однако, он все же не упускал их из виду, считая, что и с такой суммой можно принести родине существенную пользу.

Это у него крепко засело в голове, тем более что, уклонившись от всякого участия в войне, он чувствовал себя должником: надо помочь родине, надо! надо! И в тишине южного вечера, распластавшего над зеленым островом благословение покоя, Ларсен изумленно ощутил у самого сердца вместе с горячей волной беспокойства учащенный стук крови. А укладываясь спать, он вспомнил сказку, которую любила рассказывать ему перед сном покойная мать — сказку о герое Холгере, который спит в подземельях Кронборга и должен проснуться для защиты Дании в час великого бедствия.

Ларсену было 42 года. Но в это мгновение он почувствовал в своей груди тот самый трепет, которым некогда наполнялось его детское сердце от сладостной надежды, что это именно он разбудит Холгера и станет его верным оруженосцем.

## II

Мысль о подвигах, зародившаяся у Ларсена еще в детстве, закрепились впоследствии самолюбивыми мыслями пе-



регнуть всех братьев. У отца Ларсена была крохотная усадьба, способная кое-как прокормить четырех детей, но на то, чтобы одевать их и учить, доходов не хватало. С грехом пополам удалось это сделать с помощью брата матери, Вест-Индского моряка, который время от времени присылал несколько гиней и взамен этого суеверно просил, чтобы при каждом норд-осте за него крепко молились. Это была дешевая плата, никого не тяготившая. Но молитвы, очевидно, помогали, и моряк прожил довольно долго. Благодаря этому старший брат стал агрономом, средний пастором, а если обучение младшего Ларсена ограничилось деревенской школой, то это случилось только лишь потому, что малыша считали ни к чему не способным.

— Ты у нас глупенький, — говорил отец, поглаживая его прямые волосы цвета сливочного масла. — Тебя мы отдадим на службу куда-нибудь в колонии. Там большого ума не требуется. Там надо всего только уцелеть от лихорадки.

Мать, обычно молчаливая, покорная и безропотная, начинала задыхаться от таких слов, сердито гремела ключами и, вырвав своего любимца из волосатых рук мужа, тащила малыша куда-нибудь в чулан или погреб. Здесь, угостив его сушеными яблоками, медом или пастилой, она обнадеживала этого молчаливого и прожорливого зверька сладостными предсказаниями о том, что когда-нибудь он затмит всех. А чтобы вселить в него уверенность в этом, она западающим шепотом, по секрету, рассказывала ему, что один из ее предков был знаменитый пират, державший в страхе все корабли на пространстве между Шотландией и Антильскими островами. Говорила еще, что свои сказочные богатства он зарыл на острове св. Фомы. Сообщая об этом своему любимцу, мать многозначительно намекала ему, что вместе с кровью очень часто передаются в роду характеры и судьбы.

При этом, ласково шлепая его по щеке, она неизменно добавляла:

— Надо только крепко хотеть; а если ты крепко захочешь, то и сокровища найдешь. Вот увидишь, найдешь. Остров св. Фомы, — небольшой островок. Пороешься и найдешь.

Никаких сокровищ на острове св. Фомы он не нашел и не искал, но, увезенный братом матери на корабле в Вест-Индию, он шестнадцати лет поступил на службу — как раз на этот самый остров! — к одному негоцианту, торговавшему красильным деревом с Голландией. Здесь он быстро постиг сущность колониальной торговли, — хватать, не зевать и не церемониться с людьми цветных рас, — и, когда хозяин отправил его на Соломоновы острова за черным и сандаловым деревом, молодой искатель счастья смело попробовал совершить несколько самостоятельных операций. От удачного результата их на загоревшем лице его появилась сытая надменность, а в движениях властное спокойствие. В 26 лет он уже имел наличными первую тысячу золотых гиней и несколько фамильярных прозвищ у местных воротил — это тоже кой-чего стоило. В тридцать два года у него уже было золота в шесть раз больше. В дальнейшем Ларсен уже являлся владельцем эбеновой рощи, нескольких шхун и собственного трехмачтового корабля, который назывался «Фортуна».

Его братья прозябали в серой скудости мелочно расчетливой жизни, перелицовывая старые костюмы и собирая деньги в глиняных копилках. Сухой узкий рот среднего брата, деревенского пастора, даже и напоминал отверстие такой копилки. Петер Ларсен ничего этого не знал.

Жизнь сразу открыла перед ним свои щедрые просторы и приучила думать — широким раскрытым веером.

Богатство и сытость, правда, достаточно обкорнали крылья его мечтам и планам. Он несколько отяжелел в мыслях. Но газетный лист от 31-го октября 1864 года снова сдвинул с места его упорные мозговые жернова. Горизонт раздвинулся. Сквозь бесконечную синеву он увидел вдруг извилистые очертания маленькой Дании. Надо ей помочь! Надо — и все!

---

### III

Трепет, охвативший Ларсена, с тех пор больше не покидал его. В голове у него точно зажегся неугасимый огонь, день и ночь пламеневший. Уже с утра думал он о том, что по окончании работы в конторе, когда спадет зной, он уединится в боковых аллеях сада, где буйная растительность скроет его от всех. Там под ускоренный темп шагов он перебирал всевозможные планы, один причудливее другого, исполненные, однако, житейской наивности колониальных людей. То он серьезно подумывал о том, нельзя ли подкупить государственных деятелей Пруссии, то он коварно предполагал наводнить Пруссию особым видом сильно ядовитых змей, в изобилии здесь водившихся.

В этом беспрестанном придумывании наилучшего способа помощи своей родине прошло семь месяцев. Дело не подвинулось вперед ни на один дюйм. Зато Ларсен совершенно отошел от семьи — еще молодой и привлекательной жены и троих детей. Он перестал быть мужем и отцом.

Тогда жена его, в жилах которой имелось несколько раскаленных капель испанской крови, невольно зажглась ревностью и стала внимательно следить за ним. Понятно, легче всего было объяснить его внезапную и длительную отчужденность простой интрижкой с одной из туземных жительниц или каким-нибудь тайным пороком, не так уж редко наблюдавшимся в колониях. Слежка, однако, ни к чему не привела. Усердные соглядатаи исправно докладывали ревливой жене, что Ларсен задумчиво, в полном одиночестве бродит в глухих местах, курит одну трубку за другой и решительно ни с кем не видится. После этого отвергнутая жена решила пустить в ход усиленную ласковость и внимание и прибегла даже к любовным пряностям. Не помогло и это. Ларсен, по-видимому, целиком ушел в мир воображаемый, где главными действующими лицами были два неутомимых спорщика, из которых один что-то предлагал, а другой в мрачном презрении доказывал полную неосновательность его планов. Этому воображаемому миру он пол-

ностью отдал всю страстность своей натуры и сумасшедшую настойчивость своей воли, и поэтому он сейчас походил на женщину-картежницу, любовный аккумулятор которой незаметно для нее самой быстро иссякает за зеленым столом, и она перестает быть женщиной. Ларсен перестал быть мужем. Жене оставалось только одно — бесноваться от отчаяния, обиды и мутных томлений тела, вскипяченных солнечным зноем. Обида выливалась у нее в диком вое, раздававшемся по ночам. Ларсен обычно спал у себя в кабинете. За деревянной стеной, увешанной циновками, внезапно звучал вой, протяжный, жуткий, полуживотный. Иногда это еще сопровождалось звоном разбитой чашки. Ларсен презрительно поднимал голову, резко кричал на жену, а под конец относил ей стакан воды и удивлялся, почему она не пьет.

Навещавший их карантинный врач, исхлестанный морщинами старичок, растягивая улыбку до ушей, несколько раз говорил Ларсену:

— Вашей супруге, я полагаю, следовало бы иметь ребенка.

Ларсен яростно кричал в ответ:

— Четвертого? Вздор! Довольно. Мы не кролики.

Врач долго и настойчиво пытался расшифровать свои слова, усиленно подчеркивая, что речь в сущности идет не о последствиях, а о причинах, но Ларсен не хотел слушать его. Само собой разумеется, дело было вовсе не в том, что Ларсен боялся уподобиться кроликам. Ему просто казалось нелепым, бестактным, несвоевременным, что жена думает о таких глупостях в то время, как он терзается упорным желанием изобрести способ помочь родине.

Но то, что так презрительно и по мужски недальновидно отбросил Ларсен, ловко подобрал молодой стройный француз-инженер, работавший по сооружению местной гавани. Всего только два раза он на улице перекинулся с г-жой Ларсен острыми зазывающими взглядами, а в третий раз он уже смотрел на нее в такой близости, что видел расширенные зрачки ее влажных бегающих глаз. Весьма возможно, что супруг, целиком ушедший в свои мысли, нико-

гда бы не узнал об этом: супружеская ревность требует некоторого воображения или природной мнительности, а, пожалуй, больше всего самостоятельного опыта в таких изменах. У Ларсена не было ни того, ни другого, ни третьего. Для него женщина, изменяющая своему мужу, была таким же редким исключением, каким в обществе являются отцеубийцы, и когда преданный слуга-негр, вынырнувший из ларсеновских детей, дрожа, плача и задыхаясь, рассказал ему, что «чужой масса» осмелился «много, много раз целовать госпожу», — Петер Ларсен, изумленный, ошарашенный, никак не мог поверить, что такой редкий, необычный случай приключился как раз с ним.

Несколько мгновений спустя он пришел в бешеную ярость, зверски ударил негра кулаком в глаза, а затем настрого приказал ему молчать. Пришлось оторваться от своих привычных мыслей и перейти к другим, новым, беспокойным мыслям, и целых четыре дня продолжались поиски доказательств измены (Ларсен так и говорил самому себе с возмущением: «целых четыре дня ушли на глупости, недостойные серьезного человека»). На пятый день, вечером, он подкараулил француза в глухом месте сада и напустил на него двух догов. Собаки в четверть часа остервенело загрызли инженера насмерть. На шестой день неосторожного юношу очень пышно похоронили. Убийца шел за гробом в цилиндре и рединготе.

На седьмой день Ларсен вернулся к своим мыслям, довольный, что теперь уже никто ему больше не мешает.

Рассказывают, что однажды спросили Ньютона, как он открыл закон тяготения. — «Непрестанно думая о нем», — ответил физик. Ларсен никогда не слышал о Ньюtone, но бессознательно избранный им метод был тот же. Никогда не расставаясь с мыслями своими, он всегда был наготове влить расплывчатую массу бушевавших его идей в какую-нибудь подходящую форму, которую подскажет ему случайность. Однако, прошло уже восемь месяцев, а Ларсен все еще пребывал в состоянии школьника, только собирающегося приступить к решению трудной задачи.

Погибшего инженера-француза заменил старый пьяненький голландец Трейманс, некогда напряженный искатель счастья, под конец горько разуверившийся в успехе. В один прекрасный день ему стало ясно, что он неудачник. Тогда, грубо отбросив от себя всякие дальнейшие иллюзии, Трейманс решил искать утешения в страсти к напиткам, и любимейшим из них стал для него джин с медом.

Ларсен познакомился с ним в гавани во время работ. Ему понравились сумрачные глаза голландца, излучавшие мечтательную скорбь. Они разговорились. Оказалось, что Трейманс объездил весь свет и знает решительно все. В словах старого неудачника Ларсен сразу почувствовал стыдливую печаль человека, которого доконали несбывшиеся надежды. Слушая его, Ларсен плотоядно подумал: «Вот у таких людей всегда можно чему-нибудь научиться и даже взять напрокат несколько остроумных идей».

Они скоро подружились. Ларсен, обычно сухой, колючий, накрахмаленный, подпустил его поближе и пригрел вниманием. Тогда голландец, осушая бокалы с джином, стал извлекать из своих тайников выпцветшие лоскутки былой даровитости. Сейчас все его слова звучали сказкой, но Ларсен понял, что когда-то они представлялись Треймансу реальными возможностями.

Посмеиваясь над самим собой, Трейманс вспоминал, как в молодости он верил в свои грандиозные проекты. А под конец сокрушенно сказал:

— Увы, люди измельчали, и ко всему крупному, великому, они относятся с явной враждой. Так уж полагается: пигмей ненавидит всякого великана, даже если он добр, как ангел. Во всяком случае, новейшим Колумбам, кроме того, что они вынуждены будут переносить плевки, еще придется делить свою славу с акционерными обществами, министрами и десятками ловких покупателей идей.

Ларсен нетерпеливо потербил свои светло-рыжие бакенбарды и робко спросил:

— Но все-таки еще возможны крупные дела?

— Не думаю, — с мрачным вздохом сказал Трейманс. — Для совершения великих дел, вернее, для преодоления люд-

ской косности, нужны были деспотические личности вроде фараонов и Александров Македонских. Явись сейчас Христофор Колумб, он натолкнулся бы на парламентские речи и на парламентские интриги. Ассигновка на его экспедицию несомненно должна была бы пройти через парламент. Вы представляете себе, сколько бы наговорили по этому поводу господа депутаты? А если бы ему захотели помочь богатые купцы, на сцену сейчас выплыло бы международное право. Это то самое право, на основании которого Англия делает все то, что ей хочется и забирает себе все колонии. И в конце концов, бедный Колумб, не дождавшись ассигновки, умер бы шкипером какой-нибудь мореходной компании.

Ларсен любезно подвинул к нему мятные лепешки, одну из них сам взял в рот и поощрительно заметил:

— Вы человек с вкусом и перцем, и слушать вас можно целые дни И откуда вы все это знаете?

Трейманс печально усмехнулся, махнул рукой, как бы отмахиваясь от таких преувеличенных комплиментов, и продолжал:

— Вот сейчас строится Суэцкий канал. Скорее всего, это последнее из грандиозных сооружений. Да и то неизвестно, будет ли оно доведено до конца. Этого мало, что Лессепс хочет во что бы то ни стало прорыть 160 километров: необходимо еще неизменное благожелательство господ акционеров, газетных писателей и разных правительств. И вот увидите: в один прекрасный день все они передерутся между собой, как собаки на мусорной свалке.

При слове «собаки» у Ларсена промелькнуло:

«Сам Бог надоумил меня отделаться от французика и послал мне этого умного пьянчужку, начиненного мыслями. Не буду я Ларсен, если...»

Новый бокал джина с медом раскрыл у Трейманса все его словесные хляби. Он вошел в раж, возвысил голос и тоном обиженного высокомерия говорил:

— Человеку с незастывшими мозгами придумать грандиозное дело не так уж трудно. Но что в этом толку? Кроме мозгов, надо еще иметь упорную настойчивость сверла и

отказаться от всякого самолюбия. Но прежде всего настойчивость, способную подавить всякие сомнения и всякие посторонние желания. Тут я вам должен высказать свое глубочайшее убеждение: все знаменитые открыватели, реформаторы, завоеватели и тому подобная знаменитая сволочь брали только своей нечеловечески тупой настойчивостью. Все остальное — остроумные идеи и блестящие детали — само собой приставало к ним по дороге к их цели, как пылинка цветка пристаёт к пушистому животу шмеля. Без зазрения совести они крали по дороге чужие идеи, подчас даже не замечая этого, как опять-таки шмель не замечает, того что он выносит на своем животе цветочную пыль. Кстати, кто оплодотворил цветок? Внешне — как будто шмель. А в действительности, незаметная пылинка. Шмель попадает в историю, ему ставятся памятники, о нем пишутся толстые книги, а о пылинке никто не знает.

Прищурив свои пьяные влажные глаза и не сводя их с Ларсена, Трейманс презрительно закончил:

— Можете мне не верить, дорогой Ларсен, это ваше право, и вы не будете первый. Но в молодости я тоже был такой оплодотворяющей пылинкой, которой беззастенчиво пользовались толстозадые шмели. Они меня всю жизнь бессовестно обкрадывали и пользовались моими идеями. А когда я стал старше, умнее и осторожнее, у меня уже нечего было красть. Тогда шмели меня выбросили, как выбрасывают пустую бутылку из-под отличного ямайского рома.

Ларсен деланно вздохнул (этому он научился в деловых коммерческих сношениях, когда надо было показать, что и ему не легко даются барыши) и сочувственно заметил:

— Ничего, г. Трейманс. Вы еще сами будете шмелем. Погодите, плечи ваши действительно пригнулись, но зато на плечах у вас осталась отличная голова.

— Нет, уж поздно, — возразил Трейманс, но не очень энергично. — Поздновато. Хотя, знаете: всего только полгода назад я прочел в одном почтенном обществе — это было в Батавии — доклад об использовании солнечной теплоты в Сахаре, ибо я твердо убежден, что этот океан знойных песков можно с успехом использовать. Была у меня еще



одна идея, которую я разрабатывал довольно подробно — о том, чтобы отогреть Гренландию, но, пораздумавши, я плюнул на это дело. Почему? Потому что с некоторого времени стал придерживаться взгляда, высказанного в Священном Писании: не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Кстати, этот гигантский остров принадлежит вам, датчанам. Но, очевидно, не все ваши соотечественники обладают вашей энергией и преступно зевают.

Ларсен насторожился. Этот хвастливый пьянчуга все же большой выдумщик, а главное — ему хорошо известен весь земной шар.

Ларсен осторожно полюбопытствовал:

— А как это можно было бы сделать?

— Что именно? — рассеянно спросил Трейманс, витавший уже где-то далеко, вероятно, у другого полюса.

— Отогреть Гренландию?

Трейманс грузно откинулся назад и, сделав лукавое лицо, насмешливо помахал указательным пальцем перед своим носом.

— Э-э, нет, дорогой и уважаемый Ларсен! Уж этого я вам не скажу. Это мой секрет.

## V

Ларсену пришлось сделать над собой большое, твердое усилие, чтобы не обидеться или, по крайней мере, не начать расспрашивать. Он тоже откинулся назад и в громком смехе скрыл свое пламенное любопытство и досаду. Мясистые щеки его тряслись — конечно, от злости и нетерпения, — но смех замаскировал его подлинные чувства и внешне свидетельствовал скорее о насмешке над чрезмерной скрытностью Трейманса. Поэтому обиделся голландец.

— Чего вы смеетесь? — грубо спросил он.

— Ну, разве это не смешно! — проговорил Ларсен, вытирая лицо цветным платком. — Честное слово, это очень смешно. Точно я... Но Бог с вами, я не буду настаивать. Не на-

до, не надо!

— Вы что же предполагаете? — не унимался голландец, задетый недомолвками Ларсена. — Пожалуйста, говорите, не стесняйтесь.

— Если вы разрешаете, я, конечно, скажу, — сквозь смех произнес Ларсен, но сделал паузу, а после паузы заметил: — Впрочем, зачем же? Уж лучше я помолчу. А чтобы нам не ссориться, давайте мирно разойдемся по домам. Поговорим об этом в другой раз.

Он поднялся с места.

— Нет, — закричал Трейманс и ударил рукой по столу. — На этот раз я не только не скрою от вас свой секрет, но даже потребую, чтобы вы меня выслушали. Я требую! Вы задели мою честь, как инженера.

— Ну, зачем же требовать! — спокойно сказал Ларсен. — Это слово, конечно, сказано вами сгоряча — не правда ли? Нет, в самом деле, не разойтись ли нам сегодня по-хорошему? А то, я вижу, вы немного вспыхнули.

— Я очень прошу вас занять ваше прежнее место! — резко заявил Трейманс. — Я настаиваю на этом. Ибо вы задели мою честь, и я должен, я должен...

— Ну, отлично, — миролюбиво произнес Ларсен, усаживаясь в плетеное кресло. — Я полагал, что лучше всего, из большого уважения к вам, отложить ваше сообщение до другого раза. Но так как вы...

— Оставим эту галантерею. Я посвящу вас в свой секрет, и вы убедитесь, что я не пьяный и не болтун.

Отодвинув от себя бокал с джином, чтобы подчеркнуть свою трезвость, Трейманс высокомерно сказал:

— Моя идея отогреть Гренландию — вполне реальная идея. Но, прежде чем вы убедитесь в этом, я очень прошу вас самому предложить мне какой-нибудь план освободить Гренландию от вечных полярных льдов.

Ларсен в ужасе пожал плечами.

— Я? Чтобы я?..

Похоже было на то, что опьяневший Трейманс собирается разыграть дурацкую и крикливую комедию. Отчасти это испугало Ларсена, но больше всего огорчило. Он разоча-

рованно подумал: у этой пьяной хвастливой канальи, очевидно, никогда и не было никакого плана, он просто намерен что-нибудь сейчас придумать.

— Вы требуете от меня невозможного, — пробормотал Ларсен, всячески стараясь улыбнуться.

— Но все-таки. Предложите какой-нибудь план, — настаивал Трейманс.

Его отвисло разинутый рот выражал злобное пренебрежение к своему собеседнику. Так и казалось: еще одно слово Ларсена, насмешливое или просто непочтительное, и Трейманс полезет в драку.

— Ну, я уж не знаю, — недовольно обронил Ларсен, досадуя на самого себя, что ввязался в этот разговор, не обещавший ничего интересного. — Ведь я не инженер.

— Но какая-нибудь фантазия у вас имеется? — грубо настаивал Трейманс.

— Ну, извольте, — уступил Ларсен, едва сдерживая свою злость. — Не собираетесь ли вы провести в Гренландии сеть железных труб?

— Допустим. Ну, и что же?

— Ну, и устроить отопление, что ли. Навести каменный уголь.

Трейманс только этого и ждал. Теперь наступил его черед откинуться на спинку кресла и дико захохотать. Из его широкого горла одновременно вырывалось хрипкое ржанье, стон, пьяная икота и бульканье мокрот. При этом он ритмично ударял ладонью о стол, залитый джином, а затем затопал еще ногой.

— Какая досада! — воскликнул он сквозь смех. — Какая досада, что нас никто не слышит. Отогреть Гренландию при помощи угольных печей! Проложить трубы в арктических льдах! Я не подозревал, что вы такой юморист. Да это то же самое, мой милый Ларсен, как если бы вы... ну, чтобы привести вам в пример... как если бы вы, скажем, вздумали нагревать зимой улицы Копенгагена при помощи костров. Да, нет, что я говорю! Провести трубы в Гренландии! Да они лопнут от мороза в тот же миг, когда вы их положите на землю!

— Я же оказал вам, что я не инженер, — оправдывался Ларсен, а про себя думал: «Пусть издевается, негодяй; это уж не такая большая цена за сообщение секрета. Но вот знает ли он сам, что надо сделать?»

Смех Трейманса стал затихать. Временами звучали только вспышки его, ясно говорившие о том, что глотка у Трейманса окончательно пересохла. Он отпил глоток джина, крикнул, встал с места, театрально окрестил руки на груди и, пошатываясь, зашагал по комнате.

Ларсен насторожил уши.

— Нет, достопочтенный Ларсен, — торжественно сказал Трейманс, глядя себе под ноги, очевидно, не вполне уверенный в том, что стоит на неподвижном основании. — Мой план заключается в другом. Как трезвый человек, как инженер, я точно знаю, что когда хочешь вступить в борьбу с природой, прежде всего необходимо ее же взять себе в сотрудники. Да и вообще: в технике (как и у вас в коммерции) главенствует принцип неумолимой эксплуатации — делать все чужими руками и употреблять минимум собственных усилий. Только вы эксплуатируете людей, — их наивность, их невежество, их пороки и их физическую силу, — а мы эксплуатируем природу, физику, геологию. Поняли? Так вот: ни один человек и никакая акционерная компания не в состоянии своими силами отогреть этот остров в 2 миллиона квадратных километров. Но зато это легко может сделать природа.

Ларсен приставил к уху согнутую ладонь в намерении не пропустить ни одного слова. Трейманс же умышленно сделал паузу, не желая отказать себе в удовольствии насладиться нетерпением собеседника, которому он собирался показать, какая разница между образованным инженером и невежественным торгашом.

## VI

— Вы, разумеется, знаете, что такое Гольфстрем, — про-

фессорским тоном начал Трейманс. — Это то самое теплое течение, которое отходит от Антильских островов, огибает полуостров Флориду и затем направляется мимо вашей жалкой Исландии приблизительно к Шпицбергену. Как датчанин, вы должны лучше меня знать, каково значение этой теплой морской реки. Не будь его, ваша ничтожная, лысая Исландия была бы в точности похожа на свою простуженную соседку Гренландию, а между тем этот ваш островок достаточно населен и, вероятно, приносит вашему правительству кое-какой доход. Один из рукавов этого Гольфстрема пробирается, правда, к юго-восточным берегам Гренландии, но он слаб и немощен. Он вроде отработанного пара. Впрочем, не вам это понять. Изучивши все его особенности, я набрел на счастливую идею отвести этот Гольфстрем ни больше, ни меньше, как на север.

Тут Трейманс вынул из записной книжечки карандаш, быстро набросал на деревянном столе очертания берегов Атлантического океана и сказал:

— Вот, смотрите: в этом месте, т. е. приблизительно у 42 градуса северной широты и 40-го градуса западной долготы, я устанавливаю для Гольфстрема препятствие и гоню его, мерзавца, к Гренландии, прямо на мыс Фаруэль. Тут он разбивается, и один рукав его идет направо в Датский пролив, а другой направляется в пролив Дэвиса, в Баффинов залив. Поняли?

И, заглянув в блестящие щелевидные глаза Ларсена, Трейманс снова загрохотал своим адским смехом и снова стал ударять по столу широкой ладонью. Все огромное тело его точно развинтилось. Оно затряслось, зашаталось, задвигалось. Черный, прокопченный рот Трейманса раскрылся еще шире и, извергая вместе с гниlostным запахом белую слюну, стал походить на китовую пасть.

— Вот это идея! — заорал он в злом восторге. — Согласитесь, что не всякому она придет в голову. А вы говорите: уголь, железные грубы. Да, Ларсен, дайте мне возможности, и я — черт меня возьми целиком, если это неправда — переверну весь мир! Туда и обратно. Только возможности!

Ларсен, слушавший его внимательно, глубоко вздохнул,

как человек, который просыпается.

— Да, — заметил он. — Нет слов: хорошая у вас голова на плечах. Дай Бог каждому.

И тут же подумал: но как бы его заставить распространиться о подробностях?

Побарабанив пальцами по столу, он осторожно сказал:

— Что и говорить, идея замечательная. Но я несколько знаю людей, которые дают деньги на такие вещи, и заранее скажу, что они ответят вам, дорогой Трейманс. Они скажут: Вы гениальный человек, мистер Трейманс, но вы остановились на полпути. Не искать же нам для второй половины второго Трейманса? Вот что они окажут.

— Искать им не придется! — с усмешкой подхватил голландец. — Мой проект разработан до конца, до последней точки. Вам, как неспециалисту, я сообщил только основную мысль, а детали... детали у меня в чертежах, почтенный Ларсен. В чертежах! Когда-нибудь, я надеюсь, вы заглянете в мою жалкую хижину, и я, так и быть, покажу вам сокровища, добытые моим мозгом. Тогда вы узнаете, что такое Трейманс. Вы что же думаете: сказанное мной — это все? Вы плохо знаете Трейманса. Очень плохо. И даже совсем не знаете. Чтобы понять меня, необходимо кое-что смыслить в технике. Вот вам пример. Знаете ли вы, как я собираюсь разбить течение Гольфстрема? Никогда не догадаетесь, хотя бы вы и были инженером. Впрочем, я раньше говорил только о том, чтобы отвести Гольфстрем. Не отвести, а разбить я собираюсь Гольфстрем. Да-с, разбить. Потому что, если его попросту отвести, то мы безжалостно заморозим старушку Европу, особенно скандинавские страны и, пожалуй, Британию. Я все предусмотрел, дорогой Ларсен, решительно все! Мой проект имеет в виду соорудить особого рода волнорез, на который должно натекать течение. Мне известна скорость течения в этих местах — около 24 километров в сутки — его ширина, его глубина, и я, таким образом знаю силу напора всей массы воды. Поняли? И я строю остров. Тут я уподобляюсь Господу Богу и создаю твердь среди океана. Вот на том самом месте, о котором вам говорил раньше. Но что это за остров? Вот тут и

сказалась выдумка Трейманса, которого грубые и близорукие люди считают всего только жалким пьяницей. Да, выпить Трейманс действительно не дурак, но зато у него имеется кое-что и в голове и притом такое, чего не отыщешь у самых трезвых людей. Мой остров будет представлять собой тупоугольный треугольник, тупым острием своим обращенный к полуострову Флориде. Вот таким образом — видите? Это и будет мой волнорез. Течение ударится вот об это место и неминуемо разобьется. Одна ветвь течения проскользнет направо, т. е. туда же, мимо Исландии и Норвегии (черт с ней, со старушкой Европой, не будем обижать ее), а другая отклонится к мысу Фаруэль. Но вы спросите, как это я сооружу остров? Правильный вопрос. Логичный вопрос. А знаете ли вы, что такое каркас? Если не знаете, то спросите у вашей прелестной супруги. Она отлично знает, что такое каркас, ибо это проволочный скелет, из которого сделана ее шляпа. Вот такой каркас, только не из проволоки, а из железа, послужит скелетом для моего будущего острова. Поняли? Внутри я буду сыпать камень, песок и всякую дрянь. Течение все это будет заносить водорослями, травой и грязью в виде шкурок от бананов, кокосовых орехов и щепок. Мало того: к острову тотчас же пристанут непрошенные морские гости — в виде полипняков, мадрепор, морских трав и всякой иной ерунды, которая совершенно зря купается в море. И вот, когда такой остров будет готов и даже до этого, ваша Гренландия прежде всего должна будет поставить Треймансу бронзовый памятник и разбить вокруг него красиво подстриженный сквер с вазонами цветов и желтыми дорожками. Да, да, Ларсен, все это будет возможно, ибо к тому времени Гренландия начисто освободится от своих льдов и заведет себе почти такой же климат, как у вас в Копенгагене. Только, пожалуйста, не забудьте напомнить о желтых дорожках, а то чего доброго, ваши скареды еще пожалеют желтого песка.

Затем, опустившись в одно из отдаленных кресел, Трейманс вдвинул свою голову в плечи, прищурил глаза и, точно описывая далекие незримые образы, утомленно и глухо сказал:

— Вы знаете, дорогой Ларсен, когда мне по ночам не спится (а это, к сожалению, бывает часто), я мысленно сооружаю все свои проектируемые постройки. Это предстает предо мной так правдиво, что я подлинно слышу оголтелый грохот лебедек, кранов и низвергающихся цепей. Люди орут, доски скрипят, колеса вращаются. Я подчас вижу перед собой целый лес: это трехмачтовые и четырехмачтовые корабли, шхуны, парусники, баржи, транспортники, подвозящие к моему острову камень из мексиканских каменоломен. Вижу, как этот камень низвергается в пучину, и тогда меня охватывает такое бешенство, точно я хлебнул ведро раскаленного ямайского рома. Мне тогда хочется до крови исколотить всех людей, разрушить весь мир и занять все его щели и дыры. Должно быть, это меня распирают неосуществленные идеи, которых за всю жизнь накопилось во мне, вероятно, несколько тонн. Я умею много пить, но по-настоящему пьян я бываю только от своих видений. Эх, Ларсен, кого однажды посетили сладкие видения, тот бывает пьян ими на всю жизнь! И поэтому... выпьем еще по бокалу.

— Ничего, ничего, — пробормотал Ларсен. — Бронзовый памятник на о. Гренландии вам обеспечен.

## VII

Ларсен уходил домой с раздвоенным чувством. Грандиозный план Трейманса захватил его очень мало: Ларсен был слишком трезвый и практичный человек, чтобы поддаться необузданной фантазии старого неудачника, устами которого говорит алкоголь. Вот уж действительно правда — пьяному море по колено, что ему стоит в мечтах выстроить остров посреди океана! Все же он должен был признать самому себе, что самое устремление мыслей пьянчужки пленило его крепко: вот в каком направлении надо искать решения задачи, если хочешь помочь родине — найти для нее новые земли, оживить забытую всеми пустыню,



отвоевать от моря новые пространства или отыскать в недрах неожиданные сокровища и водрузить над ними датский флаг...

Ларсен твердо решил отныне направить свои мысли именно в эту сторону, не отвлекаясь больше никуда, чтобы не тратить понапрасну сил на поиски. Однако, старый хозяйственный опыт, не позволяющий ничем пренебрегать, — в большом хозяйстве все пригодится, — подсказал ему на другое утро заглянуть во вчерашний кабачок и точно срисовать с деревянного стола чертеж Трейманса.

Так положено было начало осуществлению великого плана. По крайней мере, об этом подумал сам Ларсен, заглянув через несколько дней в записную книжку, где рядом с датами о сроке предстоящих платежей уютно расположились Гренландия с Исландией и одинокий Шпицберген. Это соседство — записи о деньгах и чертеж — показалось ему очень знаменательным и как-то сразу закрепило в его деловом сознании реальную важность приобретенных им сведений. Еще через мгновение, очень короткое, эта мысль запечатлелась в нем совершенно ясным ощущением: кое-что уже сделано для Дании. Немного, всего только подготовительное — но сделано. В том, что на сумасбродном плане Трейманса он никогда не остановится — в этом он не сомневался. Рисунок нужен был ему только для того, чтобы напоминать об исходной точке его будущих мыслей и давать им нужное устремление. Но когда он захлопнул записную книжку и положил ее в карман, он внезапно почувствовал сильную, непоборимую и волнующую потребность раздобыть и те подробные чертежи, которые хранятся у Трейманса на дому. Для чего? Для того же самого: для закрепления принятых решений, для того, чтобы ощущать прирост накопленных идей, для того, чтобы иметь право сказать самому себе — путь к цели стал несколько короче.

Ларсен не обманывал себя нисколько. Он отлично понимал, что неудачники безмерно дорожат своими идеями, и получить у голландца чертежи нельзя будет ни за какие деньги. Не выкрасть ли? Для этого надо было обзавестись сообщником. Ларсен из гордости отверг это сразу. Другие

способы, сколько он ни взвинчивал себя куреньем, пока не приходили ему в голову, но уже к вечеру того же дня он уверенно говорил себе, что чертежи будут у него.

«Они придут ко мне сами, — говорил он себе. — Надо только не упускать их из виду и терпеливо дожидаться случая. Он явится, явится. Как это рассказывал Трейманс? К пушистому животу шмеля сама собой пристаёт цветочная пыль. Вот именно!»

А пока что Ларсен принялся измышлять собственные проекты оживления пустынь и экспедиций в ненаселенные места. Он достал подробный атлас земного шара и внимательно обходил все его уголки. У местного консула он выпросил торговый справочник, заключавший в себе и кое-какие географические данные, и добросовестно прочел его со всеми примечаниями. Но, странное дело! Совершая увлекательные экспедиции по знойным пустыням Азии и джунглям Африки, он никак не мог пересилить в себе невольных заглядываний на далекий север, где над океаном нависала тяжелая треугольная белая льдина, именовавшаяся Гренландией. Она упорно возвращала его к сумасбродному плану неудачливого энтузиаста, томила его острым сверлом и заставляла его беспричинно вздыхать, словно он потерял что-то навсегда. Не спокойствие ли он потерял?

Этот проклятый пьяный болтун, в черепе которого вечно пламенеет проспиртованный мозг, заколдовал его, должно быть, своей дьявольской болтовней, вдохнув в него ядовитую отраву! И досаднее всего было ему то, что идиотский план Трейманса, для осуществления которого не хватило бы всех капиталов Ротшильда, начинал ему нравиться, точно он, Ларсен, не может сам придумать ничего другого!

Мысли о Гренландии стали неотвязны. Этот остров преследовал его днем, за работой в конторе, он снился ему по ночам в виде зазубренного острого треугольника, внедряющегося в череп. Однажды за обедом он увидел у жены чересчур откровенный вырез на груди и яростно закричал:

— Прикрой свой Гренландию!

Жена изумленно вскинула на него большие серые глаза, задрожала от негодования и, приподняв с боков свою

широкую юбку, возмущенно уплыла из столовой. Вслед за ней, спрыгнув со спинки стула, побежала гримасничавшая обезьянка.

В незнакомом слове, вернее, в интонации, с которой оно было сказано, г-же Ларсен почудилось грубое, неприличное оскорбление, какое можно услышать только у пьяных матросов в порту. Она заперлась у себя в комнате и легла в постель. Перед вечером с ней сделался припадок истерики, с визгом, аханьем и задыхающимися возгласами. Пригласили старичка-доктора. Он успокоил ее какими-то каплями, запах которых распространился по всему дому и взволновал кошек, обезьяну и двух попугаев. Заволновался и Ларсен. Но врач, растягивая рот до ушей, снова заговорил о легкой возбудимости женщин, которые... которых... которым... И так как Ларсен, поняв застенчивые намеки старика, проявил на лице брезгливую скуку, доктор поспешил заговорить о другом и сообщил ему, что серьезно заболел Трейманс.

Ларсен насторожился.

Врач вздохнул и сказал:

— Почки. Они у него достаточно износились. Чрезмерное пристрастие к напиткам не проходит бесследно. Боли у его нечеловеческие.

У Ларсена вырвалось:

— Очень хорошо.

Но он быстро поправился:

— Хорошо, что вы мне это сказали. Я к нему непременно зайду.

## VIII

Через час Ларсен сидел у кровати Трейманса и с жадным любопытством всматривался в его желтое, отекавшее лицо, искривленное непрерывными болями. Он пытался развлечь больного последними газетными новостями, рассказал о занятом судебном процессе морских пиратов, ко-

торый рассматривался в лондонском вице-адмиралтействе, но Трейманс, извиваясь от боли, почти не слушал его. Вдобавок, Ларсен на редкость скучно рассказывал, монотонно, без всякой игры в голосе.

Водянисто-голубые глаза голландца, медленно открываясь и закрываясь, небрежно обшаривали всю комнату и, казалось, чего-то искали. Ларсен ничего этого не заметил. Вероятно, это происходило оттого, что его собственные глаза время от времени скользили по письменному столу, шкапчику и полочке с книгами.

Вдруг Трейманс высунул из-под одеяла свою красную веснушчатую руку и, указывая скрюченными пальцами на деревянный диванчик, стоявший у боковой стены, скрипучим голосом сказал:

— Там, под диваном, лежит чемодан. В нем вы найдете портрет моей дочери. Я уверен, что когда я посмотрю на нее, мне станет легче. Ключ здесь, в кошельке. А портрет в плюшевой рамке. Завернут в бумагу.

Ларсен живо отыскал ключ и, плотоядно улыбнувшись, подошел к чемодану.

Он быстро открыл клетчатый чемодан и остро скользнул напряженным взглядом в обе его половины, где в холостом беспорядке валялись галстуки, пуговицы, катушки с нитками, большие круглые запонки, бутылочки с какими-то лекарствами, пластинки ярко-красного сургуча, пустой футляр из-под очков и шнурки. Тут же лежали два длинных цилиндра из картона, в которых вероятно, находились подзорные трубы. На самом дне незаметно притаился толстый пожелтевший пакет, перевязанный алой лентой. Это, должно быть, и был портрет дочери, но зато чертежей, больше всего занимавших Ларсена, не было нигде. Он огорченно поднялся с земли и уж не видел, ни как Трейманс всматривается в лицо дочери, одетой в костюм голландской крестьянки — в чепце с отогнутыми краями, в пышной юбке, в желтых деревянных ботинках — ни того, как по отвислой щеке Трейманса скатилась большая слеза.

Возвращаясь домой, Ларсен все время ожесточенно думал, понятно, о чертежах. Где их мог держать этот безала-

берный пьянчуга? И вдруг, точно пламя, всполыхнула перед ним неожиданная мысль: в картонных трубах, на которые он не обратил внимания, предполагая, что в них находятся подозрительные трубы. Ну разумеется, что это так, черт возьми!

От радости у него захватило дыхание и перед глазами стало светлее, хотя масляные фонари у его дома горели тускловатым желтым светом.

На другое утро он снова был у кровати больного. Трейманс тихо стонал. Ларсен пытался было рассказывать ему одну историю, вычитанную вчера в календаре, но Трейманс уныло махнул рукой и, прервав монотонную речь гостя, конфузливо попросил:

— Прочтите мне что-нибудь из Священного Писания.

Ларсен засуетился и подошел к полочке, где неуютно лежало несколько книг — технические справочники и астрономия.

Трейманс с усмешкой прошептал:

— Здесь не ищите. Библии у меня никогда не было. Спросите у кухарки. У нее, кажется, есть. От миссионера. Кстати, по-английски я никогда Библии не читал.

Через несколько мгновений заколебались циновки и робко показалась краснорожая женщина. Она принесла книгу и с поклоном исчезла.

Ларсен раскрыл Библию наобум и сейчас же стал читать с нарочитой монотонностью. Это была последняя глава из Второзакония. В ней рассказывалось о том, как Господь велел Моисею взойти на гору Нево и, показывая ему землю Ханаанскую, предупредил его, что никогда он не вступит в нее.

Трейманс слегка приподнял голову и, пересиливая боли, вращая белками, восторженным шепотом сказал:

— Ах, какая это глубокая мысль! Еще раз, еще раз прочтите.

Ларсен повторил:

— И взойшел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево... И показал ему Господь всю землю Галаад... и всю землю.. до западного моря и полуденную страну... И сказал

ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: «семени твоему дам ее». Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень...

— Да, да, — шептал Трейманс сухими синими губами, — мы все умираем, оставляя что-нибудь незаконченным, незавершенным. Извечный закон.

Вздыхнул и умолк.

Через мгновение продолжал, не поднимая век:

— В этом самое большое горе и самый большой подвиг: вести народ в землю Ханаанскую и знать, что ты сам никогда не вступишь в нее. Увы, это участь всех зачинателей.

Снова замолчал и после длительной паузы, во время которой несколько раз шумно и протяжно вздохнул, с отчаянием закончил:

— А хотелось бы еще пожить немного. Проклятье!

Должно быть, Трейманс произнес больше слов, чем ему можно было, потому что вслед за тем он стал задыхаться. Фиолетовый лоб его покрылся испариной. Нижняя челюсть, дрожа, медленно опускалась и, наконец, упала. После этого Трейманс больше не произнес ни одного слова и только стонал.

Перед вечером, незадолго до того, как Ларсен явился к нему во второй раз, больной потерял сознание. Врач, ощутив его пульс, два раза презрительно скривил губы, вздохнул и хмуро удалился.

Тогда Ларсен подошел к чемодану, вынул оттуда две картонные трубки и, убедившись, что там находятся чертежи, тихим, неторопливым, уверенным шагом отправился домой.

Вслед за ним спокойно плыла его гигантская тень

## IX

Прямая, напряженная изыскательная мысль Петера Ларсена с некоторого времени стала делать неожиданные по-

вороты в сторону. К этому вынудили ее не ревность и не тревога за свой семейный очаг, а совершенно иные обстоятельства, вынырнувшие из той эпохи. Война между северными и южными штатами Америки привела к грубой каперской войне, расплотившей пиратов. На всех путях Тихого океана, больших и малых, неистовствовали корсары, подкарауливавшие ценные грузы. Искали оружия, но довольствовались копррой, жемчугом, шоколадом и цветным деревом. Так свободная, ничем не ограниченная торговля в Островном архипелаге Тихого океана пришла в полное расстройство. Судовладельцы, неся крупные убытки, распродавали свои суда или устанавливали для них новые рейсы в другие части света. Негоцианты же оставались с залежами товаров.

Наступил день, когда в таком же положении очутился и Ларсен. Его трехмачтовое судно где-то запропастилось в необозримых просторах океана и зловеще не подавало о себе никаких вестей. Возможно, что его потопил бронированный монитор вместе с грузом сандалового дерева и пандануса. Ларсена охватила тревога, впервые им испытанная: прекратившееся сообщение и корсары не только угрожали его материальному благополучию, но еще отрезали его от всего мира.

Тревога стала усиливаться, когда с близлежащих островов начали бежать знакомые — кто в Южную Америку, кто по направлению к Азии. И в тех же аллеях сада, где еще недавно в зыбких струях зеленого золота напряженно изыскивался способ оказания помощи далекой родине, обдумывался новый план — переселения на Восток, в старые, безопасные и более цивилизованные места. В пользу этого говорило и другое, более убедительное соображение: дети росли дикарями, их надо было учить. С другой стороны, удачно разрешался вопрос о ликвидации дела. Уже два года Ларсена донимал некий англичанин, упорно желавший купить его усадьбу и рощу. Два раза он приезжал сюда, два раза звенел гинейями и одновременно подсылал комиссионеров, распространявших тревожные слухи. Корсарная война, всех ужасавшая, англичанина беспокоила очень мало,

так как английский грузовой флот находился под защитой военных судов: воспользовавшись хаосом, Англия забира-ла в свои руки торговлю Тихого океана. И Ларсен решил: участок продать, а самому переселиться на Антильские остро-ва и приобрести факторию у вдовы своего бывшего хо-зяина.

Когда это решение обозначилось, созрело и укрепи-лось, — исчезло беспокойство. Тогда же — освобожденные от докучливой тяжести — снова завертелись мозговые жер-нова вокруг соблазнительной мысли об использовании трей-мансовских чертежей. Они лежали зря, попусту, без вся-кой пользы, а между тем...

Тут всплыло воспоминание о генеральном консуле (или как он там назывался?), жившем на одном из остров св. Де-вы. Не переговорить ли с этим чиновником, представите-лем датского правительства, не посвятить ли его в свои на-мерения? Вдобавок, там найдется немало богатых датчан, которых, пожалуй, удастся (хотя лучше было бы делать все самому) привлечь к этому патриотическому делу. Но это — решил он — только на худой конец.

Сделка с англичанином была заключена быстро. Анг-личанин, плотоядно учитывая тревожное время, пытался было выторговать по крайней мере треть, но наткнулся на каменное упорство и заплатил полностью. Ларсен пред-полагал, что сперва поедет один, а затем, устроившись, при-везет семью. Но, искоса взглянув на жену, на ее бегающие, плутоватые и уже что-то затаившие глаза, немедленно пе-ременил решение: жену взять с собой, детей оставить под присмотром карантинного врача, а затем послать за ними кого-нибудь из своих служащих. К его удивлению, жена со-гласилась на это очень легко.

Большой галиот, на котором, не торопясь, плыли Лар-сены, носил нежное название «Floria», но в этот рейс пра-вильнее было бы называть его Ноевым ковчегом. От чис-тенкой скользкой палубы, сверкавшей шоколадным блес-ком, до черных закоулков шершавого трюма, где жутко нависали могучие бимсы с сосульками застывшей смолы, пестро склеились пассажиры всех рас, птицы в клетках, обе-



зьянки. И все это было перемешано громоздким багажом. Звонко заливались, давясь своим криком, грудные младенцы, горланили негры, гнусавили китайцы, лепетали, точно переливались один в другого — застенчивые малайцы. Протискиваясь через вонючую людскую мозаику, уныло метались от форштевня до кормы рослые надменные люди в больших шляпах и бахромчатых штанах. Они нагло смотрели поверх людских голов, перебрасываясь односложными словами, которые звучали заговорщицким переключением.

После спокойно-ленивого величия на тихом острове, где каждый человек был четко на виду, г-жа Ларсен ощущала здесь беспомощную затерянность. Густая, шумная толчея показалась ей адом. Новизна, прельщавшая ее в поездке, теперь внушала ей страх и отвращение: беспрестанная тревога, неумолкавший топот и острые запахи без остатка растворили в себе все любопытство островитянки, чуть ли не впервые увидевшей столько новых людей. Съежившись, сидела она возле обоих чемоданов, испуганная, немая, пришибленная, в ожидании, пока приступ морской болезни свалит ее на узкую, неудобную койку. Вдобавок, почти все время она оставалась одна среди незнакомых чопорных людей. Через иллюминаторы доносился яростный гул океана и хлестание бушующих волн, падавших, точно мокрые тряпки, на палубу. Галиот весь дрожал, напрягался, скрипел, и ей отчетливо казалось, что вот сейчас он развалится и раскроет перед нею черную бездну.

Ларсен же целые дни шагала по палубе, никого не замечая. В десятый или одиннадцатый раз он мысленно повторял свой предстоящий разговор с генеральным консулом, которого он собирался посвятить в свои намерения. Мало искушенный в беседах с неторговыми людьми, он решил, что о такого рода вещах, да еще с представителем правительства, надо говорить торжественным накрахмаленным языком, от которого сохнет в горле. Но когда Ларсену показалось, что он окончательно подготовился к разговору, его охватила злая мучительная досада: посвящая консула в свою тайну, он этим самым отдавал ее в чужие руки. Меж-

ду тем, уже с давних лет он привык думать совершенно самостоятельно. Какой усладой было бы сознавать, что великое дело не захватано чужими равнодушными или корыстными руками! Что от начала своего до конца оно идет по прямой линии, исходящей от него собственной ларсеновской сердцевины, крепкой, как эбеновое дерево! Да, но эта прямая линия упиралась в пустоту, заполнить которую он собирался при помощи консула и далекого правительства, заседающего в Копенгагене. Проклятье! Ведь существуют же, вероятно, и другие возможности разрешить великую задачу, ибо нет такой задачи, у которой не было бы решения, если не совсем точного, то хотя бы приблизительного.

В эти мгновения припоминался пьяный голландец, начиненный идеями. Еще бы немного пощекотать его лестью и поддакиванием, и он, несомненно, высыпал бы из своей некрепкой головы немало мыслей, которые можно было бы взять напрокат. Впрочем, здесь дело не в изобретательности. Думать он, Ларсен, умеет сам. Вся суть в том, что этот проходимец долго околачивался по всему свету, наталкивался на умных, опытных людей и обладал памятью. Ни золота, ни алмазов, ни дорогого сандалового дерева никто никогда не изобретал. На них счастливо наталкивались. Точно так же наталкиваются на удачные идеи. Надо только уметь хорошенько использовать находку.

Когда Ларсен вернулся к жене, он, к удивлению своему, нашел ее в обществе молодого смутлого человека, который увлеченно рассказывал ей что-то на ломаном спотыкающемся английском языке, пересыпанном немецкими словами. Молодой человек, широкозадый, как такса и с такими же, как у нее, кривыми ногами, сладко щурил масляные глаза, подергивал губой, сверкал крепкими белыми зубами и прижимал руку к своей выпуклой груди. Г-жа Ларсен внимательно слушала его, склонив голову набок и улыбалась, ежеминутно поправляя локоны, расвихлявшиеся от сырости. Улыбка ее приподнимала края бледного вялого рта, откуда временами вылетал негромкий горловой смех. Тонкие ноздри ее чуть-чуть трепетали. Темный пу-

шок над губой походил на тень. Уши стали розовыми. Одновременно на глазах ее играл и струился влажный блеск.

Ларсен сразу заметил и то, и другое, и третье. После застывшей бледно-зеленой маски, в которую морской путь превратил ее лицо, г-жа Ларсен предстала перед ним совершенно иной. Все это было ему отлично знакомо. В одно короткое мгновение влажный блеск ее глаз и трепетание ноздрей и приподнятые края губ красноречиво напомнили ему, что ее вечно напряженный чувственный мир уже воспламенился и покорно раскрывается; что сладкий, густой дым — как непроницаемый полог алькова — застилает перед нею всех здесь присутствующих и их насмешливые взгляды; что тонкие горячие руки ее готовы протянуться вперед в неотгонимом безудержном желании судорожно сомкнуться. Ларсен очень хорошо знал, что нисколько не ошибается. Сейчас она была кошкой, последним поощрительным мурлыканьем отвечающей на любовные вопли кота. Еще несколько молчаливых пауз, грациозных выгибаний спины и нервных виляний хвостом — и кокетничающее целомудрие растворится в тумане острых, ненасытных желаний, которые приходят у нее внезапно, как шквал.

Жидкий огонь ревности растекся по всему телу Ларсена. Он нахмурился и сжал губы. Хорошо бы схватить этого щеголя за воротник и выбросить в иллюминатор. Но, увы, здесь не остров, где богатый, всеми уважаемый Ларсен сам себя мог считать непогрешимым судьей. Он церемонно поклонился. Собеседник г-жи Ларсен быстро вскочил, почти изогнулся и назвал свой фамилию: Фаринелли.

Вспугнутая кошка сразу остыла в своей любовной истоме и поджала хвост. Узкой белой рукой с ямочками на локтях она поправила съехавшую на бок мантилью и дипломатично улыбнулась обоим.

— Непременно узнай у г. Фаринелли рецепт прекрасного средства против морской болезни: коньяк и что-то еще. Помогает мгновенно.

Ларсен подозрительно посмотрел на рюмку, стоявшую на столике между койками, и хмуро кивнул головой.

— А вы не изволите страдать от качки? — любезно спросил Фаринелли у Ларсена, который молча разматывал шейный шарф.

— Нет, — коротко ответил тот и про себя подумал, что этому знакомству надо немедленно положить конец, иначе исчезнет спокойствие, необходимое для дальнейших мыслей о предстоящем решении...

— Я тоже не страдаю, — продолжал Фаринелли, закладывая два пальца за свой коричневый двубортный жилет. — Я, правда, родился в горах, в Альпах, в городе Кортина д'Ампеццо (может быть изволили слышать: в Доломитах?), но много ездил по Средиземному морю и к качке привык.

— Вы моряк? — с нескрываемым жадным интересом спросила г-жа Ларсен.

Фаринелли отрицательно поводит головой, прищурил глаза и, поиграв молчанием, чтобы поразить неожиданно, с важностью ответил:

— Мне приходилось много ездить, как участнику научных экспедиций. И сейчас я возвращаюсь тоже из одной такой экспедиции.

Г-жа Ларсен ничего не поняла. Научная экспедиция? По крайней мере, ее узкие брови недоуменно изогнулись и замерли вместе с появившимися морщинками. Зато ее супруг удостоил Фаринелли внимательным взглядом: со времени встречи с голландским инженером наука стала внушать ему большое к себе уважение.

Фаринелли мгновенно учел этот интерес к своей особе и оживился. Научные занятия нисколько не мешали ему усвоить практическую истину, утверждавшую, что самый верный способ безнаказанно поухаживать за чужой женой — это понравиться ее супругу. Он повернулся к Ларсену, перестал щурить глаза и сделав серьезное лицо, принялся объяснять ему, в чем заключается его научная деятельность.

---

То, что Фаринелли рассказывал, было для обоих супругов увлекательно и ново, начиная с самого названия его науки: зоогеография. О жизни морских звезд, о каракатицах, медузах и кораллах — таково было содержание неожиданной лекции, которую он очень удачно перебивал отступлениями, крайне приятными для г-жи Ларсен. Фаринелли успел, например, сообщить, что, разъезжая по пустынным островам Тихого океана, он в течение семи месяцев совершенно не видел белых женщин, но зато теперь с избытком вознагражден, встретив лучшую представительницу их.

Г-жа Ларсен слушала, кокетничала и удивлялась. Как, красные кораллы, из которых делают пуговицы и брошки, — это животные? А где же у них ноги и глаза? Ее муж тоже внимательно слушал и тоже немало удивлялся, но больше всего недоумевал: ну да, знания приносят пользу, но какая может быть польза от изучения всех этих медуз и морских звезд. На что они годятся? Кому они могут принести пользу? Однако, умаять себя перед женой расспросами и доставлять ученому красавчику удовольствие объяснять — Ларсен не захотел, и потому молчал, как барсук.

Вокруг распространялся крепкий мужественный запах американского табака, от которого воля г-жи Ларсен становилась мягкой, как каучук от тепла. Ей нравилось, что лекция Фаринелли предназначена главным образом для нее, что лектор поминутно ловит ее взгляды и что он итальянец.

А Фаринелли, увлекшись своим успехом, незаметно пустился в самое дальнее подводное плавание и, несмотря на плохое знание английского языка, запускал такие словесные фиоритуры, что захватывало дух и у него самого, и у его слушателей.

Он очень образно показывал, как ловкая каракатица спасается от своих врагов, как медуза, положенная на тарелку, обращается в ничто. Ларсен все это отлично запо-

минал, но внутренне никак не мог примириться с тем, что это кому-нибудь может принести пользу. Это занятно, как занятны фокусы, показываемые проезжими шарлатанами. Но ради какой цели серьезные и образованные люди могут посвящать этому всю жизнь? Если бы не жена, в присутствии которой не хотелось рисковать (а вдруг итальянец осрамит его?), Ларсен прямо поставил бы вопрос смазливому шалопаю: а какой толк от ваших дурацких медуз? Стоят ли они того, чтобы люди не только рассматривали их в увеличительные стекла, но еще снаряжали ради них какие-то экспедиции, которые, вероятно, поглощают чертову уйму денег?

«Впрочем, — решил Ларсен, — об этом можно будет поговорить с Фаринелли наедине, а пока что не мешает послушать его занимательную болтовню: может быть, скажет и что-нибудь путное».

А Фаринелли продолжал в том же роде. Усиленно жестикулируя, покачиваясь и откидываясь назад, он при помощи рук, головы и губ живописно иллюстрировал свою науку. Так он перешел к кораллам. Ларсен зевнул. В это время прозвучал гонг, созывавший к четырехчасовому кофе. Ларсен уже поднялся с места и прикоснулся было к плечу жены, чтобы помочь ей встать, как Фаринелли галантным жестом протянул ей руку и ловко поднял ее с койки.

— Если позволите, — сказал он, — я буду продолжать свои описания после кофе. Обещаю вам, что это будет не менее интересно.

«Болтай, болтай, — ревниво думал про себя Ларсен. — Твои старания соблазнить ее, ученый негодяй, будут напрасны».

— Я слушала вас с удовольствием, — обронила г-жа Ларсен, приветливо закивав головой. — Вы так увлекательно рассказываете. И вот видите: качка прошла для меня благополучно. Ваши рассказы сократят нам путь.

«Одним сократят, а другим удлинят, — про себя острил Ларсен. — Потому что твоему кавалеру еще предстоит отправиться ко всем чертям».

Так уж всегда случалось, что присутствие жены отравляло ему пребывание в обществе, самом интересном. В эти минуты неизменно ощущал он одно и то же: что она ему не принадлежит. Неискоренимое любопытство к новым людям и быстро воспламеняющаяся чувственность уносили ее далеко от него. Он угадывал ее греховные и порочные мысли и подмечал легкую готовность к самой беззастенчивой измене. То же самое происходило и теперь: общительный молодой человек начинал ему нравиться, но в сочетании с женой он раздражал его каждым своим удачным словом. Если бы захватить его с собой на палубу, подальше от кошачьих улыбок жены, пожалуй, можно было бы узнать от него немало. Он хотя и знает только то, чему его научили другие, но для людей, умеющих рассуждать, и этого бывает достаточно. Разве у Трейманса, например, были собственные идеи? У него были знания, память и опыт, а идеи возникали у того, кто его внимательно слушал и кто сумел воспользоваться его богатством, лежавшим без всякого употребления.

Так думал Ларсен, пока за общим столом все пассажиры молча, с напускным равнодушием друг к другу пили кофе. Но его мысли, развертывавшиеся обычным путем, очень скоро вернули его к хорошо знакомой мучительной досаде, что из-за отсутствия каких-то данных у него, Ларсена, иссякала возможность надстраивать свой великий план и приходится звать на помощь со стороны. И главное, при убежденном сознании, что где-то непременно таится легкое решение задачи. Уединиться бы сейчас где-нибудь на палубе — и заново попытаться решить ее! О, черт!

После кофе все трое вернулись в каюту. Фаринелли тоже успел за это время кое-что обдумать. По упрямому сжатым губам Ларсена, высокомерным и презрительным, он ясно понял, что для успешности своего натиска на хорошенькую островитянку, исполненную чувственного любопытства, надо прежде всего усыпить бдительную ревность ее супруга. Это можно было выполнить только одним способом (по крайней мере, других не было в его арсенале): напустить на себя озабоченную серьезность. Что касается легко-

мысленного тона, то его надо приберечь исключительно для г-жи Ларсен, когда представится случай остаться с ней вдвоем. Временный проигрыш в ее глазах — приведет к выигрышу впоследствии. Он это ясно предвидел.

Когда все вернулись в каюту, Фаринелли важно занял свое место на складном стуле и осмотрелся по сторонам. Какой-то почтенный старичок, сидевший на верхней койке, вдруг соскочил вниз и попросил разрешения послушать г. ученого. Фаринелли сделал галантный жест в сторону г-жи Ларсен, как бы говоря: все зависит от дамы. Польщенная слушательница кивнула головой. Старичок скромно стал у стенки. Ларсен внимательно осмотрел его с ног до головы — и вдруг ощутил потребность уйти от всех: ему показалось, будто сдвинулось что-то в его мозгу, как это бывает перед тем, когда в отдалении засверкают мысли. Он улыбнулся, взглянул на часы и вслух вспомнил, что ему еще надо поговорить с капитаном.

Фаринелли, конечно, не сообразил, что произошло; старичок тем более, но зато г-жа Ларсен, искушенная в понимании своего недоверчивого супруга, сразу поняла, что присутствие старичка избавляет Ларсена от необходимости быть цензором для слишком любезного итальянца.

На этот раз Фаринелли заговорил о кораллах, в глубине морей неумоимо строящих свои причудливые сооружения. Ветви полипняков, которые вырастают на окаменевших группах бесчисленных прежних поколений, Фаринелли сравнил с человеческой культурой: она также прочно держится на опыте прошлого, не всегда догадываясь об этом.

А Ларсен, обмотавшись шарфом, стоял в это время, прилонившись к бизань-мачте и напряженно думал. О чем? Все о том же. Как избежать проклятой необходимости — отдать свою идею другим? Прислушиваясь к самому себе, он трепетно ждал, когда, наконец, его мозговые жернова снова придут в движение, чтобы изобрести новое звено в той цепи, начало которой связалось с припрятанным газетным листом от 31 октября 1864 года.



Со всех сторон угрюмо гудел океан, слышалось жутковатое хлестание влажных снастей и трепетал весь галиот, яростно преодолевая темно-зеленые валы. Ларсен ничего этого не замечал. Уже забывалась первоначальная цель: родина. Это само собой. Ее место занимал белый треугольник, обращенный острием вниз: Гренландия. Вот там, или нет, — чуточку правее — закрытый длинным материком, спит в древних льдах таинственная страна. Уж не проснется ли она одновременно с Холгером, который спит в подземельях Кронборга? Или, может быть, так: сам Холгер разбудит ее, оживит, сняв с нее ледяное покрывало?.. Думать об этом было сладостно и приятно. Но назойливо сверлила досада: что там Холгер, когда предстоит безрадостный разговор с правительственным агентом на островах св. Девы! Не ясно ли, что правительственный агент (таковы они все, черт бы их побрал!) сам способен заморозить живого человека — своим равнодушием, надменностью и холодным высокомерием.

Нет, не хотели прийти в движение мозговые жернова. Они точно застыли. Точно замерзли. Неужели же нет такого Гольфстрема, который сдвинул бы их с места? Только бы на одно слово какое-нибудь наткнуться — и...

Ларсен подождал немного, затем вздохнул и стал спускаться вниз.

Когда он вернулся в каюту, итальянец как раз заканчивал свою фиоритуру на тему о том, что естествознание — самая реальная из наук.

## XI

После ужина Ларсен предложил жене погулять по палубе. Ночь была тихая, спокойная, звездная. Острым блеском сверкал Южный Крест. Вдыхая соленую свежесть океана, Ларсен делал вид, что посматривает вниз, где у борта шумно взвивались черные водяные бугры и, не умолкая, рокотали. Снопы света, падая через иллюминаторы, преоб-

ражали их в желтое кружево, стремительно уплывавшее назад.

На самом же деле ни бушующие гребни, ни рокот воды не занимали его нисколько. Ларсен по-прежнему думал о своем, стараясь предугадать, как повернется его дело, которое чем дальше, тем сильнее поработало его душу и теперь горело неугасимым огнем.

— О чем же он рассказывал? — внезапно спросил Ларсен, чувствуя, что жена скучает и, вероятно, думает об итальянцев.

Она, конечно, сразу догадалась, о ком идет речь, и ожилилась.

— Ах, он рассказывал очень занимательные вещи. Я не все поняла. Но все-таки... Например, кораллы один на другом вечно строят стену. Одни умирают, другие рождаются.

— Это происходит со всеми тварями, — недружелюбно прервал ее Ларсен. — Подумаешь, какие новости!

— Да, но на трупах живые кораллы строят дальше. И через несколько лет получается среди океана остров. Он заносится всякими... этими... ну, там травой, песком и вообще всякой грязью. Словом, получается остров. А между тем...

Ларсен, державший руки за спиной и рассеянно созерцавший звездное небо, вдруг схватил жену за плечо, заглянул ей в глаза и тревожным голосом спросил:

— Он так и сказал: получается остров?

Г-жа Ларсен подумала, что сболтнула какой-нибудь вздор, и неуверенно, с виноватой интонацией ответила:

— По-моему, он так и сказал. Я же не придумала. А что?

Ларсен остановился и в упор смотрел на жену. Казалось, в нем быстро, с лихорадочной поспешностью скопились мысли, его самого поражающие своей новизной. Смущенная его напряженным молчанием, которое всегда предшествовало язвительности и насмешке, она тихо задрожала, стараясь вспомнить, не было ли в ее словах промаха, не попала ли она в чем-нибудь перед ревнивым мужем?

Глухим голосом Ларсен спросил:

— А не сказал ли он, сколько лет это продолжается?

— Что продолжается?

Он ничего на это не ответил. Расспрашивать о таких вещах жену, голова которой набита всяким вздором? Он снова заложил руки за спину и медленно заскользил вперед, точно дальнейший разговор его больше не занимал.

Однако, она ясно видела, что ее слова сильно взволновали его.

— В чем дело? — возмущенно воскликнула она. Не чувствуя за собой — на этот раз! — никакой вины, она готова была поднять крик на весь корабль. — В чем дело?

Ларсен недовольно махнул рукой.

— Перестань, — тихо проворчал он. — Дай мне спокойно думать.

Но спокойно думать ему никак не удавалось. Новые мысли — те самые, о которых он мечтал — загорелись в нем широким пламенем и разбегались, как водяные блохи. Неужели он так-таки наткнулся на ту идею, которая позволит ему продолжать надстройку своего плана? Какие чудеса, однако, бывают на свете! Пустоголовая жена, насквозь пропитанная легкомыслием, способна навести...

Ларсен суеверно не закончил своей мысли: пока он точно не узнал, возможно ли все это, надо даже от самого себя скрывать успех.

Упорная молчаливость мужа и нежелание отвечать на вопросы снова встревожили г-жу Ларсен: его мрачная замкнутость всегда таила угрозу. Этот человек, когда он разозлится, способен на все. Он может со спокойной холодностью сейчас же столкнуть ее в черную воду и не шевельнуть при этом лицом.

Она в ужасе оглянулась. Слава Богу, они не одни на палубе. Недалеко от них, пошатываясь, передвигались двое мужчин, закутанные в пледы, а на вышке колебался черный силуэт вахтенного. Но из-за чего он мог разозлиться? Из-за того, что она внимательно слушала занятого итальянца и что тот бросал на нее масляные взгляды? Если так, тогда можно прибегнуть к верному лекарству.

— Этот итальянец рассказывал интересные вещи, — сказала она, беря мужа под руку. — Но он несколько утомите-

лен. И вообще... Ты заметил, у него раздроблен ноготь на правой руке? Это неприятно.

— Перестань говорить вздор! — хмуро и хрипло заметил Ларсен. — «Интересные вещи»! Но они так тебя увлекают, что ты находишь время следить за его ногтями. Вот поэтому ты и не можешь толком передать в чем дело.

От изумления она глотнула воздух и онемела. Выходило так, что муж упрекал ее за невниманье к итальянцу. Что за чепуха! Но зато эта неожиданность сразу успокоила ее насчет ревности.

Через несколько минут молчания и хмурого покашливания Ларсен, точно вспомнив, что рядом с ним идет жена, возобновил разговор:

— Да, да, — сказал он, отвечая каким-то собственным мыслям. — Так ты говоришь, что он рассказывал о кораллах. Жаль, что я его не слушал. Так как это — они неумимо строят острова среди океана? И что эти острова заносятся песком, травами и морской грязью. Но, наверное, это совершается чертовски медленно.

Г-жа Ларсен услышала в словах мужа дружелюбную нотку и оживилась.

— Как раз об этом опрашивал старичок, который стоял рядом со мной.

— Ну, и что же он сказал?

— Кто?

— Ну, разумеется, итальянец.

— Я не помню, — виновато ответила она. — Но кажется, действительно, очень медленно растут эти самые кораллы. погоди, я сейчас вспомню. Он говорил так: сравнивали старые географические карты с новыми. Ну, и вот: заметили разницу. Нет, это не то. погоди, я сейчас непременно вспомню.

Она задумалась. Ларсен задержал дыхание. Шаги его замедлились. Он ждал тревожно, нетерпеливо, ощущая сильное беспокойство. Чтобы не закричать на жену и не выругать ее за бестолковость, он плотно сжал губы. Вздых жгучего нетерпения шумно прорвался через его нос, и г-же Ларсен показалось, будто он над ней насмехается. Она съе-

жила, покрепче затянула шарф на шее и напрягала память. Ларсен, стараясь не смотреть на жену, чутко прислушивался в томительном ожидании ее ответа.

И вдруг, по-детски восторженно, звонко прозвучало ее восклицание, в котором слышалось и радостное чувство свободы от упрека и горделивое сознание, что она может быть полезной.

— Вспомнила! Двадцать метров в четыре года!

Но, спохватившись, что это должно быть не так, поспешила поправить:

— Или нет, наоборот: четыре метра в двадцать лет.

Ей даже не пришлось на ум спросить, для чего это ему надо знать, но зато она была счастлива, что ей удалось вспомнить забытое. Она только испугалась, что муж задаст какой-нибудь новый вопрос, который поставит ее в тупик, и она поторопилась застраховаться.

— Ты бы его попросил, и я думаю, что он охотно расскажет обо всем этом еще раз.

Ларсен уже не слушал ее. Он опустил голову и, глядя себе на ноги, сзади, на спине, тихо перебирал пальцами — как он это всегда делал, когда вычислял.

— Двести лет, — оказал он с усмешкой, — слишком большой срок.

— Для чего? — спросила г-жа Ларсен.

Он молчал. Из черного широкогорлого люка, сообщавшегося с трюмом, вырвался взрыв смеха. Через мгновение смех заклокотал, как кипящий котел и снова вырвался из отверстия вместе со струйкой теплого пара, пахнувшего кухней.

Ларсен прищурил глаза и сжал губы, точно готовился сказать что-то резкое, решительное, смелое. И если бы рядом с ним сейчас передвигалась не жена его, пустоцветная пичужка, двуногая мантилья, всегда пугавшаяся необычных слов, а тот итальянец, о котором они теперь оба думали, — Ларсен уверенно отчеканил бы ему, не слушая его возражений:

— Я убежден: то, для чего требуется 200 лет, при некоторой настойчивости можно сделать и в 20. Я убежден. Толь-

ко настойчивость.

## XII

Если бы Фаринелли знал Ларсена немного ближе, он сразу понял бы, какая ему была оказана честь, когда на другой день его посадили посредине — между Ларсеном и его супругой. Но итальянец принял это, как должное. Человеку, владеющему знаниями, приличествует важность. Чрезмерно двигая подбородком, верхней губой, бровями, он во второй раз сообщал о жизни кораллов, но правой рукой, которая обычно помогала ему говорить, всячески давал знать теплому бедру г-жи Ларсен, что оно ему приятно. Соседка трепетала от щекотки и душившего ее смеха и изливала его визгливым избыточным восторгом, который мог казаться относящимся к науке. Ларсен же молчал. Он сидел спокойно, неподвижно, как каменный языческий идол.

В серо-зеленых просторах затуманился горизонт. Наверху волновались сумрачные облака. Беззвучно волновалась и душа Ларсена, предчувствуя близость решения, которое он обдумывал вчерашней ночью. Но возможно ли то, о чем он думал? Не ошибся ли он, понадеявшись на точность слов, оброненных женой?

Все, однако, обстояло как будто благополучно. Ни один факт, сообщенный Фаринелли, нисколько не противоречил замыслам Ларсена. Напротив, замыслы его укреплялись и твердели, что в свой очередь подстегивало его к дальнейшему. И то, что он, никогда не видя кораллов в естественной обстановке, уверенно строил на них свой план, отнюдь не смущало его, — хотя бы потому, что об этом он даже не думал. Если бы прервать ток его мыслей, зажженных итальянцем, и попытаться смутить его скептическими замечаниями, он ответил бы просто: кто усиленно ищет, тот неминуемо натывается на нужное; так было у него с голландцем и то же самое происходит с Фаринелли; по дороге к ясно намеченной цели сами собой находятся полезные

средства для движения вперед; природа чутка — и она услужливо помогает тем, кто задается верными задачами.

Но никто не прерывал ровного течения его упругих мыслей, и он тщательно впитывал в себя полезные сведения, стараясь ничего не забыть.

Вдруг у самого борта плавно заколыхалась чайка. Г-жа Ларсен, утомленная лекцией и напряженной боязнью, что муж заметит ее неосторожную игру с Фаринелли, поднялась со скамьи и подошла к борту. Описывая спирали, остроглазая чайка то вздымалась вверх, то падала на воду, ловко хватая кусочки хлеба, которые кто-то выбрасывал через иллюминатор. Г-жа Ларсен, полюбовавшись чайкой, вернулась к сидевшим и спросила:

— А чем они питаются, живые кораллы?

Фаринелли притормозил улыбку ей, поощрительно закивал головой и ответил:

— Браво, браво! Вы внимательная слушательница.

И, предложив ей снова сесть, он стал говорить о том, что все морские животные питаются за счет гипса, который находится в воде и, который, разлагаясь, дает углекислоту. Слово «углекислота» ей ничего не сказало, но зато молчаливый супруг хорошо запомнил: гипс!

— А сотрудниками кораллов в их строительной работе — продолжал Фаринелли, — являются моллюски, черви и водоросли, нуллипоровые водоросли.

Ларсен запомнил и это, но мысли его были заняты другим: два-три вопроса, вынырнувшие уже давно, теперь понимали его неотвязно. И когда итальянец на мгновение умолк, Ларсен точно сдвинулся с места и робко спросил:

— А жить они могут повсюду? Я говорю о кораллах.

Фаринелли закивал подбородком, как бы говоря: хорошо, что вы напомнили об этом.

— Нет, — подхватил он, — кораллы требуют температуры в 15-20 градусов. Поэтому на севере они не встречаются. Там уже холодно для них. Высшая их граница — Бермудские острова.

— Это где же?

— Бермудские острова? По дороге из Америки в Европу. Приблизительно 32 градуса северной широты.

Перед Ларсеном огненно промелькнула цифра «42», за вещанная Треймансом. Это несоответствие больно укололо его и даже испугало, но ненадолго: у него уже был готов второй вопрос:

— А морские течения не мешают их работе?

— О, нет! — воскликнул Фаринелли. — Напротив, они помогают им.

И, повернувшись к г-же Ларсен, итальянец галантно сказал, специально для нее:

— Прибой новых масс свежей воды можно сравнить с поливкой цветов. Вы, конечно, этим занимались, сударыня, и знаете, что поливка полезна, так как она приносит цветку свежую пищу. Но, понятно, я говорю о теплых морских течениях. Например, Гольфстрем.

Ларсен с радостным удовлетворением откинулся назад к спинке скамьи и, закрыв глаза, стал догонять прежние мысли, которые он сам же отбросил. Очень быстро он нагнал их и улыбнулся в уверенности, что все идет хорошо и удачно. Вот что значит быть настойчивым до конца и всегда иметь перед собой ясную цель! Да, цель, никогда не упускаемая из виду, это то же самое, что для купца наличные деньги в кармане: уж всегда подвернется — сам придет! — выгодный товар. И смотришь — он уже приобретен.

Ларсен открыл глаза. Рядом звучали негромкие слова итальянца, игравшего блудливыми интонациями. Ларсен через свое плечо и через спину Фаринелли посмотрел на жену и увидел, что ее маленькая, бледная рука покорно лежит на широкой вздрагивающей ладони итальянца.

Он вскипел. Злость пронизала его пламенным уколом. Всполыхнуло желание отхлестать жену по щекам и грубо столкнуть ее вниз, в каюту, чтобы она кубарем скатилась по лестнице — дрянь! А этого шалопая надо было бы... Впрочем, какой же смысл?

И, чтобы не отдать себя опрометчиво во власть неразумной ярости, Ларсен спокойно сказал, обращаясь к жене, но не глядя на нее:



— Ступай в каюту. Ты еще простудишься. Ветер.

Г-жа Ларсен слишком хорошо знала мужа, чтобы не заметить его деланного спокойствия. Она вскочила, съежилась, пробормотала что-то итальянцу и, приподняв широкие юбки, торопливо засеменила ножками, ни разу не оглянувшись.

«Какая, однако, смешная и странная история получилась, — подумал Ларсен, оставшись с итальянцем, который тревожно выжидал, что скажет ему сейчас ревнивый супруг. — Удивительно странно. Невольным посредником в его удачных встречах с нужными людьми являлась его пустоголовая, порочная супруга. Пожалуй, даже больше — она была приманкой, шевелящейся наживкой на рыболовном крючке. В конечном итоге — да, да! — это она притянула голландца, она привлекла и Фаринелли, который только что заливался соловьем, конечно, исключительно ради нее. Ну что ж, должно быть, сама судьба услужливо избрала это вместилище легкомыслия для оказания мне помощи. Стану ли я противиться этому? Глупо».

Он задумался на одно только мгновение, и так родилась новая деталь его плана и новое звено.

### ХІІІ

— Вы человек, сведущий в очень многом, — через два дня говорил Ларсен, обращаясь к Фаринелли, — и у вас многому можно научиться. Иными словами, ваше общество доставляет мне большое удовольствие.

Лицо Фаринелли показало приятное изумление, тотчас, однако, перешедшее в напускную важность. Но целиком скрыть изумление итальянцу не удалось, и в чертах его смутно обозначились оба выражения.

— Позвольте мне быть откровенным, — продолжал Ларсен, — и сказать вам, что я бы охотно продлил удовольствие находиться в вашем обществе, если бы вы на это согласились, конечно.

Фаринелли востроганулся и учащенно замигал глазами: он ничего не понимал. По интонациям Ларсена он ясно чувствовал какое-то предложение, осторожное, робкое, но именно это-то и смутило его: меньше всего можно было ждать от надменного Ларсена каких-либо просьб. Не насчет ли супруги? Не кроется ли в его комплименте хороший удар кирпичом по голове?

— Я к вашим услугам, — обронил итальянец и слегка поблел.

Ларсен покусал кончики своих золотых усов и нерешительно сказал:

— Я сейчас еду на один из Антильских островов, где намерен приобрести усадьбу. Я не хочу возвращаться на свой остров и предполагаю остаться здесь. Не угодно ли вам будет погостить у нас месяц или два? Я и моя супруга будем очень рады иметь своим гостем столь любезного и образованного человека.

Тут уж Фаринелли позабыл скрыть свое изумление и ясно обнаружил его. Он пролепетал в ответ неуклюжую благодарность, польщенно развел руками и произнес целый ряд слов, не совсем вразумительных, но отменно любезных. А когда улеглось изумление, он сказал:

— Но меня ведь ждут. Я ездил с научным поручением.

Ларсен возразил:

— Точность маршрута не могла быть установлена при таком далеком путешествии. И вряд ли кто-нибудь сможет упрекнуть вас за то, что вы опоздали на месяц.

— Видите ли... — застенчиво пролепетал Фаринелли.

— Если вы хотите сказать, — подхватил Ларсен, — что время, как теперь принято говорить, стоит денег, я с большой готовностью возмещу вам потерю его. И позвольте обратить ваше внимание на то, что деньги вы будете получать не даром, так как я рассчитываю приобрести от вас некоторые научные сведения, которыми вы, очевидно, обладаете в избытке.

Если бы итальянец после таких слов воскликнул: «Сколько?» — это было бы вполне искренне, потому что о размере гонорара за свои будущие лекции он как раз и думал.

Но, чтобы не продешевить себя, он, колеблясь, сказал:

— Ваше предложение для меня неожиданно. Позвольте мне обдумать его. Я подумаю.

На самом же деле обдумывать это предложение и колебаться ему нечего было. Фаринелли действительно возвращался из одной научной экспедиции, но о том, что это произошло помимо его желания, он, понятно, не сообщил. Знания у него были, но в склонностях его преобладала самая ординарная и достаточно наивная жажда разбогатеть и пожить в свое удовольствие. Настойчиво домогаясь устроиться при научной экспедиции, которая отправлялась к заманчивым островам Тихого океана, он таил про себя напряженную любознательность отнюдь не к фауне и флоре, подлежащих ведению его науки. Гораздо больше его занимал тот мир растений и животных, который неоспоримо твердо котируется на биржах Лондона, Гамбурга, Генуи и Амстердама и завоевывается руками черных, желтых и коричневых людей при посредстве устрашающих винчестеров и длинных хлыстов. Разузнать, пронюхать, присмотреться и облюбовать себе местечко, на котором можно будет завести плантацию или факторию — такова была его основная цель. Она донимала его алчность точно так же, как Ларсена донимал его план. Но коллеги по экспедиции очень быстро разобрались в его остром интересе к сандаловому дереву, перламутру и жемчугу, особенно после того, как он вздумал заняться не совсем честной меновой торговлей с туземцами. Его попросили немедленно убраться. Теперь он возвращался в Европу с мыслями о поисках новых путей. Ларсен на время звал его к себе — ну что ж? Богатая Вест-Индия так же тучна и обильна, как и девственные острова Тихого океана. А о преимуществах г-жи Ларсен (не скрывающей своего благоволения к нему) перед малайскими женщинами нечего и говорить. Само собой разумеется, он согласился сейчас же, но сообщил об этом не сразу и не в тот же день, а предварительно пожеманился, покряхтел и уступил — только потому, что Ларсен был настойчив.

## XIV

Почти все, что задумал Ларсен, осуществилось блестяще. Под руководством Фаринелли он за три месяца неплохо изучил жизнь кораллов и собственными глазами убедился, что живой полипняк, состоящий из крохотных мягких существ, растет и ветвится, как растет и ветвится дерево. Наблюдал, как после смерти такого существа затвердевает его маленький скелетик, прирастая к известковым мумиям ранее умерших поколений, к которым неосторожно пристали блуждающие моллюски, серпулиды и водоросли, впоследствии тоже погрузившиеся в каменный сон. Разговорчивый Фаринелли, склонный к обобщениям, несколько раз пытался обратить его внимание на сходство человеческого общества с этими вечно действенными существами, бессознательно выполнявшими извечную задачу — подняться выше на поверхность воды, чтобы увидеть солнце. И так же, как человек, они безжалостно вовлекают в свое строительство других животных и даже растения, имея под собой окаменевшую тщетность далеких предков.

Но Ларсен пропускал эти замечания мимо ушей, как не полезные для дела. Его мысли были заняты другим. С некоторого времени, когда с Бермудских островов ему доставили полипняки, жившие в менее теплой воде, чем это полагалось, он задался целью приучить эту новую колонию к еще меньшей температуре: там было холоднее!

Фаринелли поучал его достаточно добросовестно, так как сам увлекался своими лекциями. Но он, разумеется, презрительно усмехнулся, узнав, чего хотел негоциант, до сих пор торговавший колониальными товарами — и безапелляционно определил: взбалмошный, скучающий богач. Но не все ли ему равно? Пусть причуда. Какое ему, в сущности, дело до сумасбродных идей островитянина, на старости лет воспламенившегося интересом к науке? Гонорар за свои лекции он получал исправно, пользовался почетом, изучал, и на месте, колониальную жизнь и нескучно развлекался. Он ясно видел, что ревнивый Ларсен, чтобы застраховать

свой семейную жизнь от нападений гостя, устроил для него настоящий гарем, окружив его полдюжиной туземных жительниц, красивых, полных и худых (очевидно, разбираться во вкусах Фаринелли у Ларсена не было времени). С иронической улыбкой открытого презрения к этим женщинам, потным и грязным, он рассказывал о них г-же Ларсен, подчеркивая, что как европеец, как потомок утонченных римлян, он ни как не мог бы снизойти к расе, еще не постигшей, что такое мыло.

Так ли это было в действительности, ревнивой островитянке узнать не удалось, несмотря на все ее коварные ловушки и выслеживания, но зато она сама блаженно переживала сладостный трепет тайных и торопливых объятий, бурных, патетических нежностей итальянца, который со всеми ухищрениями элегантных оперных любовников гасил в ней чувственный огонь.

Это уже далеко переступало программу Ларсена, хотя еще на галиоте, приглашая в гости Фаринелли, он отлично предвидел рискованную опасность неминуемой любовной игры. Но он уверенно считал, что пресечет ее у последней грани и грубо выбросит итальянца, а может быть, даже уничтожит его, как уничтожил французского инженера. Почему-то — не от обычной ли уверенности в своих удачах? — ему показалось, что к этому времени он успеет узнать от Фаринелли все, что ему надо было.

Однако, неприкрашенная правда пришла к нему до срока и внезапно. В этот день он с раннего утра отправился на соседний остров, где расположена была его плантация. Вернулся он вечером. Заикаясь и бледнея, ему сообщили, что ученый гость вероломно скрылся, захватив с собой г-жу Ларсен. Через час он узнал, что вместе с сбежавшей парочкой исчезло много ценных вещей, в том числе хорошо подобранный жемчуг, сверток китайского шелка, рубиновые кольца и два больших чемодана, доверху набитые всем тем, что прикрывало порочное тело спутницы Фаринелли.

Их бегство неглупо было приурочено к тому дню, когда в близлежащий порт заглянул английский пакетбот, направлявшийся в Пернамбуко. Когда Ларсен узнал об этом,

корабль уже был далеко.

В первую ночь Ларсен долго ходил по комнате в одних чулках, забыв надеть ночные туфли и, кусая губы, задыхался от бессильной ярости. Прежде всего, сильно удручала острая непривычность положения: оставленный муж. Затем, уязвлял стыд перед множеством новых людей, которые внимательно наблюдали за только что прибывшими. Среди других мыслей, всплывавших в эту ночь в ожесточенном мозгу, одна из них просто пугала своей непонятностью: ушел всего только один человек, а дом казался совершенно пустым. Но явилась другая мысль, и она плотно заслонила все остальные. Ларсен подумал: непрерывные удачи, сопровождавшие всю его жизнь, очевидно, резко повернулись; начинался отлив, долгий и ничем неотвратимый, и в первую очередь он угрожал его великому делу, Его охватил страх. Если бы сейчас с ним была жена, он, вероятно, признался бы ей в этом, хотя никогда не посвящал ее в свои настроения.

Не соображая, что делается с ним, он заглянул в ее спальню, тоскливо посмотрел на разбросанные у шкафчика вещи и сморщился, точно от нестерпимой зубной боли. Затем, потоптавшись на одном месте, он, не раздеваясь, лег в кровать жены.

Меньше, чем через неделю, он сказал себе:

— Она дрянь, и думать о ней не стоит.

Это решение быстро и легко сняло с него невыносимую тяжесть ожидания предстоящих неудач. Несколько позже у него даже промелькнула мысль, что бегство жены, в сущности, никак не может изменить его планов. Напротив, оно освобождало его от непрерывного опасения неожиданных бесчестий и отводило от него сверлящее жало ревности, на которую нелепо, бесцельно и бессмысленно тратились силы. Она же, эта глупая, бессмысленная ревность, ослабляла настойчивость, нужную ему для другого дела.

Через два месяца он совершенно перестал думать о жене и вспоминал о ней только тогда, когда его старший мальчик, Ивар, удивленно изгибая брови, обиженно спрашивал, отчего так долго не возвращается мать.

Студенты, товарищи Ивара Ларсена по университету, установили на его счет шутливый церемониал, которым начитали каждую свою пирушку.

Обычно кто-нибудь поднимался и с глубокомысленно важной интонацией, оглядев всех присутствующих, громко спрашивал:

— Милостивые государи! На этот раз я хочу, чтобы вы мне точно ответили — чем отличается животное от человека?

С противоположного угла слышался ответ:

— Животное никогда не смеется.

Тогда раздавался третий голос, — робкий, испуганный, немного задыхающийся, напоминавший голос самого Ларсена:

— Но ведь Ларсен тоже никогда не смеется.

Заключительная часть силлогизма произносилась хором. Она звучала по-солдатски:

— Ergo — Ларсен есть тоже животное!

Студенты подметили верно. Ларсен, действительно, никогда не смеялся, даже при этой шутке.

С тех пор, как отец посвятил его в свой план благодетельствовать родину, лицо его застыло, точно парализованное. Было похоже на то, будто сильно удивившись однажды, маленький Ларсен потерял способность удивляться чему-нибудь в дальнейшем. Немигающие глаза его казались прозрачными и обесцвечивали серую маску лица, и без того плоского, невыразительного, пустого.

После слов отца, ошеломивших тайной, Ивар Ларсен почувствовал себя составной частью отцовской идеи, которой должны быть принесены в жертву все помыслы и желания. Любая мысль, приходившая ему в голову, тотчас же вызывала в нем тревогу: не отклоняет ли она его от великого завета, не уводит ли она его в сторону? Он боялся простудиться, чтобы не умереть и тем самым нарушить отцовскую волю, непогрешимость которой была для него не-

пререкаемой. Он ожесточенно зубрил грамматику, убежденно считая, что и грамматика есть одно из необходимых звеньев предстоящего великого достижения.

Так он перестал принадлежать самому себе, отдавшись во власть внушенной ему идеи, которую очень скоро стал считать собственной.

Только один раз еретическая мысль закралась в его сознание, вызвав в нем холодный умственный озноб, который от одиночества и замкнутости превратился в ужас.

Ему тогда было 15 лет. Наткнувшись на книгу, посвященную морской фауне, он узнал, что кораллы, те самые, которые неустанно строили заградительный остров, растут медленно, неравномерно и вдобавок еще сами собой разрушаются. Вывод из этого заставил его трепетно подумать о том, что дело, которому он наметил отдать всю свою жизнь, осуществится только в отдаленнейшем будущем, когда от него, Ларсена, не останется и воспоминаний. Перед ним выросла туманная вереница грядущих десятилетий и в застывшем мозгу обозначилась гигантской гусеницей, уползающей в бесконечную пропасть. Эта пропасть в грядущем — никак не могла вписаться в его голове и насквозь пронзила его отчаянием: точно смерть, зияла она перед ним своей чернотой, неумолимая, непонятная.

Отец был далеко за океаном. Поделиться своими сомнениями с другими не позволял долг. Оставалось терпеливо ждать каникул, когда пароход отвезет его к отцу. Юноша, стиснув зубы, отодвинул от себя острие терзающих мыслей и принялся зубрить. Но зато ночью, когда затихал шумный пасторский дом, Ларсен не в силах был подавить в себе отчаяние и, закрывшись одеялом, плакал и кусал подушку.

Первый же разговор с отцом выдал его беспокойство.

Отец хмуро спросил:

— Ты по-прежнему продолжаешь верить в наше дело? Или, может быть...

Юный Ларсен отвел в сторону глаза и, оглянувшись, сказал:

— Да, по-прежнему, но только я убедился, что ни ты,



ни... я не доживем до конца.

— Ну, так что же?

— Поэтому я не могу себе представить, как это будет. Никак не могу.

— Это не важно, что ты не увидишь. Зато другие увидят, — сердито сказал отец. Сын в робком изумлении поднял на него глаза, но, не выдержав злого, пристального взгляда, вздрогнул, скользнул по его белому просторному пиджаку и остановился на больших пуговицах из бледно-красного коралла. Пуговицы напомнили ему обо всем.

— Я не могу себе этого представить, — бормотал он падающим, задыхающимся голосом. — По крайней мере, если бы я знал, что хотя бы одним глазом увижу, как это произойдет, я...

Отец недовольно прервал его:

— Обо всем этом я поговорю с тобой потом. Иди.

Ивар торопливо ушел и до вечера не показывался.

Отец долго ходил по комнате, уныло волоча ноги, словно на них были ночные туфли, и мучительно старался вспомнить разговор — такой же и о том же. Хорошо запомнилось ему, что кто-то очень удачно разрешил этот вопрос. Уж не мошенник ли Фаринелли?

Ларсен пытался перебрать в памяти всю болтовню итальянца, но это не удалось ему. Запомнилось только то, что нужно было для дела. Но, перебирая воспоминания в их обратной последовательности, он дошел до Трейманса, и вдруг ясно представилась ему смерть этого несчастного неудачника и его водянисто-голубые глаза, которые, медленно открываясь и закрываясь, обшаривали комнату. Ларсен сознательно перескочил через неприятные воспоминания о картонных трубках, где находились свернутые чертежи, и остановился на Библии. Он радостно задрожал: вспомнил!

Быстро подойдя к книжной полке, он достал Библию и нетерпеливо стал перелистывать ее то с начала, то с конца. Цитата совершенно выветрилась из его головы, но зрительная память набрела на то самое место, которое утешило умирающего:

«И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Неве... И показал ему Господь всю землю Галаад... и всю землю до западного моря и полуденную страну... И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову: “семени твоему дам ее”. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень...»

Вот теперь вспомнилось отчетливо: вращая белками, Трейманс шептал: «Да, да, мы все умираем, оставляя что-нибудь незаконченным, незавершенным. Это вечный, неумолимый закон. Такова участь всех зачинателей».

После этого Ларсен вызвал сына, усадил его перед собой, монотонно прочел отрывок из Библии и слово в слово повторил замечание Трейманса, прибавив к нему несколько незначительных фраз.

Ивар слушал его с окаменевшим лицом. Голова его опускалась все ниже. Когда же поднял ее, он натолкнулся на взгляд отца, неподвижный и суровый.

Размышляя об этом впоследствии, Ивар Ларсен сказал себе с твердым убеждением:

«Никакого Ивара Ларсена не существует. Существует просто Ларсен, время от времени физически восстанавливаемый. Каждые тридцать, сорок, пятьдесят лет заводятся часы; стрелки заново начинают тот же путь, который они пробежали ранее. И его, Ларсена, задача — как следует завести эти часы и заранее знать, что часы будут исправно заводиться и в будущем».

Ради этого он женился.

## XVI

Впрочем, женитьбе предшествовала беседа с отцом. Она сохранилась в памяти в виде тупого сверла, медленно вонзавшегося в тело. Но Ивар Ларсен старался никогда об этом не вспоминать.

Ему было тогда двадцать семь лет. По делам фирмы он приехал на остров к отцу. Предстояло расширить торговые и транспортные операции, перекинув их на Соединенные Штаты. Но старик Ларсен несколько отяжелел для перемены и к тому же его донимали непрерывные головные боли. Он вызвал Ивара и, предоставив ему все права хозяина, отошел в сторону и только наблюдал. Однако, изменяя и реформируя все дело по-своему, Ивар все же сохранил прежнюю сыновью почтительность и послушание. А собираясь уезжать, он робко, как школьник, сообщил отцу о своем намерении жениться. При этом в словах его слышалась несмелая просьба о разрешении на это.

Старик одобрительно сжал губы: да, род Ларсенов не имеет права пресечься, он должен жить для заповедного дела. Но щелевидные глаза его таили какие-то сомнения.

— Когда появляется в доме женщина, жизнь меняется совершенно, — глухо ответил он на слова сына и в конце его фразы послышалась горечь.

Ивар молчал.

Старик устало заволочил ноги, останавливался и несколько раз вздыхал и кряхтел. Было видно, что мысли его с большим трудом укладываются в слова.

— Поэтому, — продолжал он, — первая твоя задача — это выбрать себе такую жену, которая как можно меньше изменит твою жизнь. Ты еще не выбрал?

— Нет, — кратко сказал Ивар.

— Это самое главное — озабоченно заметил старик. — Иначе... ну да, иначе она сама станет для тебя Гольфстремом и понесет тебя туда, куда ты вовсе и не думал идти. И сопротивляться ей будет трудно. Самые сильные из нас иногда бывают слабы, как моллюски. И если хочешь одолеть ее, — я говорю о женщине, — брось ее, отойди в сторону, как сделал это я. Иначе на шее у тебя или даже в мозгу будет тяжелый груз. Всю жизнь он будет тащить тебя вниз.

Вслед за тем нетвердыми, усталыми шагами он подошел к шкафу, где хранилась шкатулка из черного дерева, порылся немного и в молчании положил на стол перед сыном пожелтевший пакет.

— Вот, посмотри, — сказал он в застенчивой хмурости. — Ты убедишься, что я победил. Я вовремя отвел от себя эту напасть, чтобы она не мешала мне заниматься моим делом. Здесь ты все узнаешь. И ты поймешь, как все пошло бы по-иному, если бы случилось иначе.

Ивар недоумевающе протянул руку к пакету, но старик торопливо предупредил его и прикоснулся к пакету пальцами.

— погоди, — сказал он, — прочтешь, когда я уйду. А потом можешь все уничтожить. Я это хранил для тебя. Чтобы предостеречь от непоправимых глупостей. Да, да, когда-нибудь люди поймут, что любовь и всякие такие вещи — это болезнь, постыдная болезнь. Ее надо презирать, как оспу, лихорадку или чуму. Когда человек пьянеет от женщины, это в тысячу раз хуже, чем опьянение от виски. Я чуть было сам не заболел, но меня спас счастливый случай. Я воспользовался им, чтобы отмахнуться раз навсегда. Раз навсегда... Кажется, я все сказал. А теперь я прилягу. Голова у меня тяжелая, точно в ней свинец.

Когда он вышел, Ивар, все еще недоумевая, стал раскрывать пакет, спрашивая себя, чем еще хочет его напутствовать отец. Развязав шнурок, припечатанный сургучом, Ивар деловито и осторожно отогнул края пожелтевшей бумаги и распрямил ее ладонью. Но пакет все еще не был раскрыт: под пожелтевшей бумагой оказалась другая. На ней рукой отца было помечено: 1872й год.

Ивар пожал плечами. Ненадолго задумавшись, он быстро развернул бумагу, ощупал руками показавшийся картон и, перевернув его, обнаружил три фотографических снимка. На них была изображена одна и та же голая женщина в развратных позах. От смущения — за отца, хранившего такие картинки, — Ивар оглянулся на дверь, не стоит ли он здесь. Нет, не было никого. Ивар снова пожал плечами. Ну да, эта бесстыжая девка была неплохо сложена (каким, однако, распутством надо обладать, чтобы в таком виде позировать перед фотографом). Но откуда это попало к отцу? И для чего эта коллекция показывается ему, Ивару, перед тем, как он собирается жениться? И что все это означает?

Не на живом ли примере хочет старик показать, какие бывают женщины? Или, может быть, старые отцовские грешки?

Округленные формы нагого зазывающего тела неудержимо влекли к себе. Ивар то отодвигал от себя эти бледные снимки, то смущенно приближал их к глазам, растерянно замигавшим. Но вдруг резко сверкнуло зрительное воспоминание. Ивар вздрогнул, покраснел и замер: в неясных чертах бесстыжей женщины, особенно в тонких бровях ее, устремленных прямо к вискам, он узнал свою мать.

Гадливость, ужас и смертельная боль судорожно стянули мускулы его застывшего лица; сдавили, сузили горло, и Ивар Ларсен, задетый неожиданностью, чуть ли не впервые за всю свою жизнь громко засмеялся. Правда, смех был хриплый, глухой, походивший на лай собаки во сне; но он удивил самого Ларсена, заставив его еще раз вздрогнуть и задержать дыхание.

Прошла секунда, может быть, две. Ивар, стараясь не смотреть на снимки, быстро прикрыл их бумагой и отодвинул подальше. Но тут глаза его упали на письмо, которое лежало на дне пакета и до сих пор оставалось незамеченным. Ивар нерешительно взял его в руки, помахал им в воздухе: читать или не читать, ведь это письмо матери?

Украдкой от самого себя скользнул он по словам обращения, написанным по-английски и, убедившись, что это не мать писала, принялся читать. Некто, совершенно Ивару неизвестный, писал следующее:

«Уже давно я ощущаю в своей душе сильнейшее желание просить у Вас извинения за совершенное мной, но я решил на это только сейчас, считая, что мое письмо несколько удовлетворит Ваше законное чувство злорадства. Известная Вам особа со времени ее приезда в Европу живет в Париже. Первые два года, растерявшись в таком шумном городе, как столица Франции, она вела себя скромно и тихо, изучая под моим руководством французский язык и некоторые науки. Однако, ее чувственная и порочная натура, ее природные склонности внезапно дали себя знать, и Вашему покорному слуге пришлось испытать с ее сторо-

ны такое же предательство, какое до него испытал ее супруг: я был оставлен ради какого-то ничтожного актера из оперетки, все достоинства которого заключались в умении бесстыдно танцевать новый танец, именуемый канканом. Мои настойчивые попытки вернуть ее к порядочной жизни привели только лишь к озлобленной против меня выходке, выразившейся в том, что эта жалкая женщина, под несомненным воздействием опереточного комедианта, не постеснялась меня, человека науки и философа, клеветнически обвинить в утайке некоторых из ее драгоценностей. Занятый исключительно научным трудом и крайне непрактичный в житейских делах, я был застигнут врасплох; к тому же с французской юриспруденцией я еще не успел как следует ознакомиться. Все это привело к тому, что я проиграл процесс и, будучи совершенно невиновным, был возмутительнейшим образом приговорен к годичному заключению в тюрьме. Естественно, что, не чувствуя за собой никакой вины, я бежал к себе на родину, встретившую меня, кстати сказать, чрезвычайно гостеприимно. Из скромности я умолчу о тех почестях, которыми меня удостоили разные университеты и академии, но зато я должен с горечью сообщить Вам, что ничтожный актер, отобрав у нее все драгоценности, в том числе жемчужное ожерелье, свел ее с одной из тех дам, которые содержат веселые салоны. Здесь она (я говорю об известной Вам особе) очень скоро выделялась своими отрицательными сторонами и окончательно вступила в общество тех безнравственных женщин, которых по-французски именуют кокотками. Будучи далеко от Парижа, я, конечно, не мог воздействовать на ее поведение в том смысле, чтобы она не порочила Вашего почтенного имени, и ограничивался только тем, что помогал ей из своих скудных средств, добываемых мной исключительно научным трудом. Всего я на нее израсходовал свыше 1200 долларов. Далее следовала неудачная для Франции война с пруссаками, осада Парижа, голод и революция. Естественно, что известная Вам особа переживала очень трагические времена, лишилась богатых покровителей, главным образом из военной среды, и вследствие этого должна

была опуститься до улицы. Этим она блестяще подтвердила мысль, высказываемую французами, что у женщин и лошадей одна и та же судьба: от банкиров, генералов и академиков те и другие переходят к извозчикам и водовозам. Ныне, благодаря хлопотам высоких друзей, я снова получил возможность проживать в Париже и иногда узнаю кое-что об этой легкомысленной и неблагодарной женщине, которая сделалась жертвой своей порочности. Между прочим, мне стало известно, что из-за своих материальных затруднений она намерена во что бы то ни стало вернуться к своей семье. Хорошо зная ее новые привычки, склонности и манеры, я полагаю, что появление этой особы в Вашем почтенном доме вызовет самые отрицательные последствия по отношению к Вашим детям, и поэтому позволю себе дружески об этом предупредить Вас. Думаю, что для обеих сторон было бы всего лучше, если бы Вы согласились *издали* помогать ей, высылая примерно 200 долларов ежемесячно. Для Парижа эта сумма очень невелика, но она даст ей возможность жить, не бедствуя и не позоря Вашего доброго имени. В доказательство же того, что все выше-рассказанное есть правда, я посылаю Вам фотографические снимки, из которых Вы собственными глазами убедитесь в своеобразных склонностях той особы, которая доставила столь много огорчений и Вам и Вашему покорному слуге...»

Прочитав это письмо, Ивар подумал немного, спокойно взял снимки и, стараясь не глядеть на них, с медленной аккуратностью разорвал их на равные мелкие куски. Письмо прочел еще раз. Некоторые фразы при вторичном чтении вызвали перед ним чье-то отвратительное подленькое лицо. Чтобы отделаться от этого видения, Ивар разорвал и письмо. Обрывки его он присоединил к клочкам картона, перемешал их и все вместе сжег на большой глиняной тарелке, в которой до того лежала земляника.

Вместе с последним мерцанием дымного пламени исчезла и едкая горечь, в течение получаса уязвлявшая мозг.

Ивар встал, встряхнулся и облегченно вздохнул, точно освободившись от наваждения.

Вое прошло.

## XVII

Головные боли, с давних пор донимавшие Ларсена, к старости участились. Бывали дни, когда он неподвижным пластом, держась за виски, лежал на кровати, ничего не соображая.

В это время при нем уже никого не было. Старшая дочь стремительно вышла замуж за богатого мексиканца и целиком ушла в острые впечатления нового бытия. Хмурый, молчаливый, всех подавляющий отец выскочил из ее памяти совершенно. Вторая дочь, сильно походившая на мать — и темпераментом и кошачьей грациозностью, — в три дня пленилась каким-то проезжим мореплавателем с широкой грудью и, повинувшись внутреннему голосу, без всякого раздумья удрала с ним в Южную Америку, как и мать, прихватив с собой саквояж с драгоценностями. Ивар — тот прямолинейно и неуклонно осуществлял отцовский наказ: перенести все дело в Копенгаген и создать там большую, крепкую фирму с разветвлениями в разных странах. Вдобавок, он женился.

Ларсен оставался один. С перенесением конторы в Европу дел у него стало меньше. К нему же они всецело перешли к управляющему, креолу Мадарьяге, чьи острые глаза, хорошо подвешенный язык и здоровые кулаки умело справлялись с хозяйством.

Себе Ларсен оставил переговоры с приезжими негодьями и еще скрытые пастушеские заботы о кораллах, которые смиренно продолжали свою несуетливую работу. С того времени, как на дно океана были опущены первые живые полипняки, Ларсен несколько раз под видом прогулки съездил на Ньюфаундлендскую банку, сбросил там до пятисот мешков с известью, — корм для нетребовательных строителей, — а однажды в водолажном костюме спустился на дно. Под водой он пробыл всего только несколько мгно-



вений (не позволяло сердце), но сквозь темно-зеленый сумрак морской глубины успел различить нечто вроде густого кустарника, извивавшегося по дну. Ларсен блаженно улыбнулся: свои сокровенные мысли он увидел уплотнившись.

Одно только отравляло ему жизнь: ничем не заглушаемая подозрительность. Ему казалось, что окружающие отлично знают о его тайне и что сын несдержанно разболтал о ней всему Копенгагену. Не оттого ли Ивар в своих кратких письмах никогда не упоминал о заповедном деле?

Иногда, изменяя своей скрытности, он пытался узнать у Мадарьяги — не болтают ли чего-нибудь о нем окружающие люди. Лукавый креол, высекая желтый огонь возмущения из своих черных глаз, сжимал кулаки и с театральной преданностью успокаивал его:

— Никто не посмеет говорить о вас что-нибудь дурное. Никто! Если же это случится, я... Вот мой кулак. Он...

А про себя думал: «Что-то есть, вероятно, чего опасается старик — да! да!» — И стал внимательно следить за ним, за каждым его шагом, за каждым его поступком. Когда у Ларсена начались частые головные боли и он бросался в кровать, словно ища там забытья, Мадарьяга решил: должно быть, это мучает его совесть. Но в поисках разгадки он наткнулся на другое: он первый заметил, что у Ларсена стала ослабевать память. Старик забывал об отправленных письмах, о полученных ответах, о выданных деньгах.

Плутоватый креол прищелкнул языком: неплохо, на этом можно кое-что нажить, особенно если не давать знать о состоянии старика Ивару. Этого он легко добился, беззастенчиво просматривая всю переписку между отцом и сыном. Впрочем, очень скоро это оказалось излишним: переписка заметно шла на убыль. Страдая от головных болей, старик, очевидно, перестал думать о всем том, что было вне его. Мадарьяга сам составлял письма и приносил их ему только для просмотра. Дрожащей рукой, не читая и ничего не спрашивая, старик торопливо ставил свою спотыкающуюся подпись, а затем сумрачно всматривался в потное лицо Мадарьяги и недоверчиво спрашивал:

— А кому это? Или ты уже говорил? Но не обманываешь ли ты меня, Мадарьяга? Смотри! Ведь я...

Креол обиженно отшатывался и, закатывая к потолку свои влажные голубые белки, с неподдельным ужасом восклицал:

— Иисус-Мария! Смею ли я сделать такую вещь!

А голова у Ларсена, между тем, все слабела и слабела. Походка стала у него петушиной. Одно плечо дрожало. Редкие седые волосы, безжизненные как пакля, казались приклеенными. Из-за постоянного шума в ушах он то и дело затыкал ушные отверстия клочками разорванных платков, наволочек, салфеток, а иногда бумагой. Когда же поблизости ничего этого не оказывалось, он махал рукой у самого виска, точно отгоняя назойливую муху. В дождливые дни, когда Ларсену приходилось безвыходно сидеть дома, он начинал копать в ящиках письменного стола, где рядом с коносаменами, квитанциями и фактурами лежали камешки, раковины и катушки от ниток. Повозившись с этой мелочью, он под конец брал одну из таких квитанций, брызгал на нее чернилами и, аккуратно сложив бумагу, любовался потом причудливостью полученной кляксы. Когда дождь проходил, он сушил эти кляксы на солнце, а затем, пронумеровав их, деловито укладывал в стопки.

Однажды, когда Мадарьяга пришел поговорить о том, что необходимо починить пристань, он увидел, что Ларсен стоит на стуле перед буфетом и сыпет себе в рот сахарный песок. От испуга старик поперхнулся, побагровел и, сжав кулак, через который стал просыпаться сахар, угрожающе замахнулся на Мадарьягу.

— Ты не смеешь! — закричал он, облизывая губы. — Ты не смеешь! Кто здесь хозяин? Ты или я?

Креол в изумлении остановился и почти громко прошептал, оттягивая нижнее веко:

— *Tengo mucho quinque*. Теперь мне все ясно. Старик впал в детство. И я буду последний осел, если не использую это, *por Dios!*

В тот же вечер он вызвал к себе старую караибку, ухаживавшую за Ларсеном, и перед Распятием взял с нее обещание, что она никому не будет рассказывать о старике.

— Он еще выздоровеет, **el pobrecito!** — убеждал ее Мадарьяга, стараясь показать, как он предан своему хозяину. — Он еще выздоровеет. Это у него, должно быть, от прежней лихорадки. А пока что люди начнут говорить про него стыдные вещи. Лучше помолчать до поры до времени.

— А не позвать ли **senor'a medico?** — тревожно спрашивала старуха. — Он у нас давно не был.

— Да, да, я сам поеду за ним. Но ты молчи. Никому ни слова.

Думал он, конечно, не о том, что будут говорить люди, а об Иваре, которого ему хотелось как можно дольше держать в полном неведении. Однако, ничего из этого не вышло: очень скоро старик умер. Это произошло с ним внезапно, когда он сидел на террасе, перед домом, на виду у всех. Как раз в это время в Копенгаген уходила шхуна, увозившая бананы, и старый шкипер, тоже датчанин, повез на родину скорбное известие о своем земляке.

Узнав о смерти отца, Ивар с тревожной поспешностью отправился на Антильские острова. Здесь он быстро привел в порядок запущенные дела, произвел кое-какие реформы, несколько изменявшие патриархальный плантаторский быт, а Мадарьягу выгнал вон. Одновременно, тщательно изучив содержание ящика из черного дерева, где хранились документы и всякие записи, Ивар осторожно собрал сведения о последних годах отца. Разумеется, его больше всего занимало, ездил ли старик на Ньюфаундлендскую банку. Вихрем острого беспокойства прохватило его насквозь: все свидетельствовало о том, что уже пять лет отец никуда не ездил. Значит, бедные кораллы оставались без призора, без пищи. Заботы о них, должно быть, выпали из слабого сознания старика, которое не донесло до конца великого замысла молодости. Уж не погибли ли кораллы? Обоюдоострая вещь — Гольфстрем. Он и приносил свежую пищу, но он и унести может — разрушить, расшевелить.

И пока не съездил на место, смутно томился Ивар беспокойством надежды и сокрушением непоправимого: то одно, то другое одолевало его.

Но вот съездил. Четыре раза опускал лот. Всеми забытые, сами себе предоставленные кораллы точно и не заметили, что о них решительно никто не заботился: неудержимо росли и широко ветвились, как ни в чем не бывало.

По крайней мере, лот обнаружил значительное повышение тверди.

## XVIII

Старый Ларсен дальновидно предусмотрел многое, но не предусмотрел одного — что у Ивара будут рождаться девочки. И как в этом случае поступить, он ничего не сказал.

Когда родилась третья дочь, Ивар озабоченно нахмурил брови и вместо того? чтобы пойти провести только разрешившуюся от бремени супругу, хмуро зашагал по кабинету, расстроенный безмерно. Девчонка! Снова девчонка! Заповедному делу Ларсенов угрожает опасность — фамильную идею унаследует женщина! Способна ли будет трухлявая ее душа упрямо, без единого поворота пронести через поколение одну идею и бережно взлелеять ростки ее для поколений будущих? Ну, разумеется, нет! По дороге она — всю жизнь! — ребячески будет отдавать себя во власть тех эпизодических влияний, с которыми сведет ее случай: муж, возлюбленный, лукавый советчик, каверзная старуха, собственный ребенок или приснившийся сон. Бросаться от одного к другому. Сразу воспринимать десятки идей и беспрестанно запутываться в хаосе их, пока не вынырнет детская с широкой грудью и наглыми глазами. Никогда не обладать организующим волевым началом! Никогда не уметь придумать что-нибудь самостоятельно и в лучшем случае удачно перенимать! Была ли когда-нибудь на свете женщина, владевшая даром синтеза? Синтез! Можно ли вообще применить это слово к существу, — ходячий календарь! —

вечно пребывающему в жалком подчинении законам природы?

Собственные мысли разжигали в нем яростный огонь возмущения, который сразу заставил его возненавидеть красный комочек, пискливый голосок которого доносился через дверь. Он был так огорчен и подавлен, что, не взглянув на новорожденную и холодно поцеловав жену, вышел из спальни с отчетливой мыслью, что если и следующий ребенок будет девочкой, он не постесняется перешагнуть через все условности и заведет себе внебрачного сына.

Через полтора года родилась четвертая дочь. Ивар стиснул зубы и подумал:

«Надо будет найти себе Агарь».

Когда по-настоящему ищешь, всегда находишь. Так говорил еще отец, и Ивар разделял этот взгляд.

Около года назад умер один из служащих конторы. Его молодая вдова осталась без средств. Ларсен распорядился в течение трех лет выдавать ей треть жалованья мужа. И вот однажды, когда она явилась в контору — приветливо-робкая, томная и словно паутиная, — он вызвал ее к себе в кабинет. Усадил ее перед своим письменным столом и, сбросив пушистый пепел сигары, жестоким деловым тоном спросил:

— Чем вы занимаетесь, г-жа Гансон?

Голосом чистым, и звонким, как серебро, она сообщила ему, что обучается шитью у одной известной модистки.

— Я надеюсь, — заключила она, волнуясь и учащенно мигая глазами, — что через год я уж буду в состоянии зарабатывать, и тогда я ни в каком случае не позволю себе...

Ларсен пресек ее слова небрежным движением пальцев и поспешил успокоить:

— Я своих решений не меняю, г-жа Гансон. В течение трех лет вы будете получать то, что вам назначено. Я просто спрашиваю, как вы себя чувствуете в одиночестве.

Нелегко было ему говорить о таких вещах. Искал в себе иных слов, не конторских, не приходо-расходных, а более мягких, обволакивающих душу, но так и не нашел. Было видно, что и она напряженно подыскивает слова для отве-

та, но, не зная, чего от нее хотят, комкала платок в руках и осторожно, бесшумно вздыхала.

— Да, да, я понимаю, — сказал он, не дождавшись ответа. — Если бы у вас был ребенок, дело обстояло бы совершенно иначе.

Она едва слышно проронила:

— Я очень люблю детей. Но...

— Дети, это большое счастье, — продолжал он. — У меня их четверо, но мое отцовское чувство отравлено тем, что среди них нет мальчика. Я мечтаю о сыне. Это счастье меня обошло.

Г-жа Гансон вскинула на него глаза цвета старого меда. открыла их настежь и чуть было не улыбнулась, но во время сдержала себя. Заплесневелый сухарь Ларсен говорил о счастье, о детях, об одиночестве! Он не иначе, как заглянул в чужой словарь.

За это время сигара успела обрасти новым пеплом. Ларсен начал срезать его о края пепельницы, медленно, вдумчиво, старательно.

— Г-жа Гансон, — вдруг произнес он, не поднимая головы, и голос его прозвучал надтреснуто. — Выслушайте меня внимательно. И поймите, что во мне говорит всего только неудачливый отец, которому, у которого...

Дальше слов у него не хватало. Выплывали обороты канцелярские: «к нашему сожалению, обстоятельства сложились так», «не было никакой возможности удовлетворить...»

Чтобы покончить с этой спотыкающейся стилистикой, Ларсен проглотил нерешительность и сказал прежним деловитым слогом:

— Г-жа Гансон, я надеюсь, вы поймете меня в лучших моих намерениях. Не найдете ли возможным быть матерью моего будущего сына?

Молодая женщина застыла от изумления. Неожданность, испуг и стыд искривили ее спокойное лицо, покрывшееся багровыми пятнами. Еще одно слово Ларсена — нона бы закричала, дико и протяжно. Должно быть, с целью помешать этому она быстро прикрыла дрожащими паль-

цами съехавший в сторону рот и большими немигающими глазами уставилась в холодную серую маску Ларсена, который спокойно выжидал ее ответа.

— Вы говорите такие вещи, г-н Ларсен, такие вещи... — задыхаясь, пробормотала она и опустила голову.

— Я знаю, это предложение не совсем обычное, — поспешил сказать Ларсен, заметив ее сильный испуг. — Но я вас очень прошу не давать мне ответа сейчас же. Вы обдумайте. Само собой разумеется, материально... Ну, да об этом нечего и говорить. Кроме того, вам будет предоставлена полная свобода. Я, понятно, немедленно отойду в сторону. Немедленно. Мальчик же будет поставлен в наилучшие условия, и я его с радостью усыновлю. Так вот, обдумайте, г-жа Гансон. Прошу вас также иметь в виду, что отрицательный ответ несколько не повредит вам, и вашу пенсию вы будете получать независимо от того... Но я жду положительного ответа. Он обрадует меня и будет полезен и приятен вам. Чтобы вам было удобней, ответьте мне письменно — завтра или послезавтра. Не правда ли, так лучше?

Она встала, чуть-чуть поклонилась и молча вышла, слегка пошатываясь.

Ларсен подошел к окну и, дождавшись ее появления на улице, стал внимательно осматривать г-жу Гансон. Она шла медленно, понутив голову, колеблющейся походкой. Когда же она скрылась за поворотом, он подумал:

«У нее приятная внешность, солидные манеры и сдержанность в словах. Она вполне подходит».

На третий день он письма не получил. На четвертый тоже.

Ларсен был огорчен.

На пятый день он послал телеграмму — ответа не было.

На восьмой день перед вечером он сам отправился к ней, чтобы узнать ее решение.

Увидев его, г-жа Гансон замерла на месте, затрепетала и схватилась рукой за голову, точно в ожидании, что она подскажет ей нужные слова.

Ларсен решил прийти ей на помощь.

— Не получая от вас ответа, я уж начал беспокоиться, — сказал он. — Я думал, вы захворали.

Она пролепетала:

— Нет, нет, благодарю вас, г-н Ларсен. Я здорова. Но я... не могу... не могла... Вы меня извините... но я даже не могу себе представить... Это так странно...

Не дождавшись ее приглашения сесть, он опустился на первый попавшийся стул, вяло скользнул глазами по ее комнате, похожей на бонбоньерку, и стал отчетливо повторять сказанное им неделю назад.

Она слушала его точно во сне. Лицо ее стало каменным. Лишь время от времени она что-то глотала — не то воздух, не то нервную судорогу, сжимавшую ей горло.

Тогда он привел последний аргумент.

— Представьте себе, г-жа Гансон, что вам сделал предложение человек немолодой, но со средствами и с положением. Так называемая любовь — она ведь бывает только в романах, г-жа Гансон, только в романах — отсутствует с обеих сторон? Как бы вы поступили в этом случае? Вам бы это тоже показалось диким?

— В течение всей недели, — сказала она монотонным полусшепотом, — я многократно, три-четыре раза в день, повторяла ваше предложение. И я убедилась, что даже к самой фразе я не могу привыкнуть. Не могу, никак не могу, г-н Ларсен. Она меня терзает. Я в ней чувствую большое оскорбление, хотя вы так любезно...

— Оскорбление? — повторил он удивленно. — Я вас оскорбил?

Он резко поднялся, сжал губы и, сделав два шага к двери, остановился вполоборота.

— Очевидно, я вам так неприятен, что даже сама мысль...

— Дело не в этом, г-н Ларсен, — умоляющим тоном воскликнула г-жа Гансон. Ее глаза потемнели и сверкнули влажным блеском. В растерянности своей она нежно засветилась и сразу стала хорошенькой. Он это заметил с недоброй улыбкой. — Не обижайтесь, г-н Ларсен. Я просто никак не могу освоиться. Дайте мне время, чтобы привыкнуть. И тогда возможно, пожалуй — я уж не знаю. Но сей-



час дать вам ответ... Позвольте мне сначала привыкнуть, я прошу вас!

Одновременно с надеждой он ощутил злую, сверлящую досаду. Дождаться! Как объяснить ей, что он не может ждать, не имеет права ждать. Этого никак не позволяет ему медленно поднимающийся со дна океана остров, питающий его неизбывную тоску нетерпения. Дождаться! Как это понять? Сначала поухаживать, гулять под руку, приносить коробки с шоколадом — так?

Ларсен резко шагнул к ней и почти закричал:

— Поймите же меня! Я хочу только сына. Большого от вас я ничего не прошу. Смотрите на это, как на вынужденную операцию, которая даст вам ребенка... А я не могу ждать, не могу!

И Ларсен — кто бы мог подумать! — спокойный, рассудительный, каменный Ларсен действительно показал, что его взбешенная страсть не может дожидаться; через несколько острых, горячих и тревожных минут она с искаженным помертвевшим лицом, отклоненным в сторону, уступила ему, покорно подчинившись его торопливым властным жестам.

Когда он возвращался, на улицах лежал густой туман. Призрачные очертания домов и людей вызвали перед его глазами далекий остров, медленно поднимающийся со дна. Он улыбнулся видению и облегченно вздохнул.

## XIX

Тем же летом Ивар Ларсен отправился на Флоридский полуостров, чтобы оттуда совершить свой обычный маршрут — сначала на острова Кеу, дугой огибающие Флориду, а затем двинуться к заповедному месту на Ньюфаундлендскую банку. По дороге пришла ему в голову мысль привезти с Бермудских островов барку с обломками полипняков и коралловым песком. И то и другое можно было легко достать на Вест-Индских рифах или даже на Флоридских, дву-

мя параллельными рядами окаймляющих полуостров. Но Ларсена крепко соблазнила мысль окружить растущие кораллы родственной им обстановкой, чтобы усилить их рост.

Так это и было сделано. Пришли две барки, глубоко сидевшие в воде и нагруженные мешками. Сопровождавшие их люди с неприязненным молчанием изумленно оглядывали водяную гладь, на которой, кроме загадочно качавшейся белоснежной яхты, не было ничего — куда же выгружать мешки? Им было указано: в воду. Ларсен сам руководил работой, и его угрюмое присутствие не позволяло расспрашивать, что означает это таинственное приношение океану. И когда в воду низвергались тяжелые мешки, вслед за которыми на ровной поверхности наперебой всплывали шаловливые частые пузыри, Ларсен едва сдерживал желание поделиться с кем-нибудь своей радостью. Но кто мог понять его, не зная, в чем дело?

Разгрузившись, барки немедленно ушли. Яхта сделала вид, что тоже удаляется, но, покружившись по водным просторам, вернулась на прежнее место. Ларсен стоял у борта и с ласковой задумчивостью смотрел вниз. Еще до прибытия барок, он велел опустить лот. Лот обнаружил заметное повышение тверди. Теперь радостно волновали его частые пузыри, на воде. Они, точно отклик снизу, шевелили в нем бодрую надежду: все идет отлично. Рядом с этой надеждой вырастала другая — в образе сына, который так же, как и желанный остров, медленно рос, увеличивался, чтобы внезапно показаться на свет и впоследствии к непрерывным звеньям предков присоединить и свое, может быть, замыкающее звено.

Когда через две недели Ларсен подходил к Копенгагену, корабельная сирена разорвала воздух долгим, пронзительным криком. Ларсен ощутил сердцебиение. Ему представился другой крик, такой же пронзительный, но менее долгий, — крик, которым через несколько дней, а возможно, и сегодня, его встретит следующий Ларсен — новое звено.

Сквозь серую щетину мачт, уходившую в дымчатый туман, он пытался отыскать то место в городе, где это долж-

но было случиться, но людской поток протолкнул его к сходням. Он подозвал носильщика, приказал ему через час доставить вещи домой, а сам, с трудом подавляя в себе волнение, поспешно направился к г-же Гансон, в ее новую квартиру, в которую она переехала, когда почувствовала себя матерью. Дорогой он думал: все идет удачно, и надо полагать, что и на этот раз удача не обойдет меня...

Никогда этого еще не было с ним, — чтобы одно слово, одно только маленькое слово причинило ему такую нестерпимую, острую, звенящую боль: девочка! Он не поверил и не своим голосом переспросил. Ему повторили:

— Девочка. Хорошенькая, пухлая, светлые волосенки.

Ларсен уже не слушал. Внутренняя судорога, не искривив его каменного лица, надломил тот прямой стержень, который подпирал его высоко поднятую голову. Он опустил ее и, не торопясь, направился к себе, немой и глухой.

В вечернем тумане снова представился ему поднимающийся остров. На этот раз он показался ему значительно большим, отчего увеличилась и его горечь, язвительно подсававшая ему: а будущего владельца острова еще нет.

Госпожу Гансен Ивар больше никогда не видел. На другой день он внес на ее имя в банк достаточную сумму, написал ей деловитое короткое письмо, причем не подписался — и вычеркнул ее из своей жизни навсегда.

Но мысль о сыне, продолжателе заповедного плана, не покидала его ни на один день. Она заслонила перед ним все остальное, и большое, и малое, и навела его на мысль о злом неудачничестве, которым коварная судьба подстерегла его на гладком и ровном месте. Уж не последыш ли он, собой замыкающий недолгую цепь отцовских идей?

В молчаливом жестоком одиночестве переживал он свою горе. А напоминало оно о себе ежедневно. Письмо с бланком — такой-то и сын — вызывало вздох. Мальчишки, оглашавшие шумом маленький скверик перед конторой, раздражали безмерно. (У Ларсена даже промелькнула мысль: не добиться ли у города запрещения пускать сюда детей?). Однажды в игрушечном магазине, куда он зашел купить

рождественские подарки, болтливый приказчик неделикатно заметил:

— Если для мальчика, то особенно рекомендую лошадку, барабан и вообще военные принадлежности. Для мальчиков нет ничего лучшего.

С яростным презрением посмотрел на него Ларсен.

— Я не нуждаюсь в ваших советах, — прошипел он. — Показывайте то, о чем вас просят.

Да, все задевало Ларсена. А исхода не предвиделось. Отец в таких случаях упрямо говорил: нет такой задачи, которую невозможно было бы разрешить. Но как бы он поступил в данном случае? Увы! Старик многое предусмотрел, но не все.

Однажды Ивар прочел в газете фразу из научного фельетона: «Работы профессора Шенманна из области разгадки пола у неродившихся детей и возможного воздействия в нужном направлении на родителей вызвали подражате...» Фраза обожгла его. И, вероятно, оттого, что сухие сердца легко воспаляются, он внезапно изменил себе. В этот день упрямый тяжелодум Ларсен, подолгу обсуждавший со своими сотрудниками каждое письмо, каждое решение, — без всякого сопротивления и даже торопливо подписывал все бумаги и в две минуты согласился заключить не совсем выгодный договор с одной транспортной фирмой, частично переуступавшей свой концессию за какие-то существенные преимущества в тихоокеанских рейсах. А еще через три он уже был в Германии, в тихом уютном городке, состоявшем из профессоров, студентов и квартирных хозяек.

Сидя перед одним из таких профессоров, Ларсен застенчиво и нескладно рассказывал о своем страстном желании иметь сына и откровенно сообщил о своей попытке завести себе наследника на стороне. При этом глаза его одновременно излучали тоску и надежду.

Старенький, сморщенный биолог, упершись руками о стол, точно собирался встать и уйти, насмешливо смотрел на него поверх очков, пожевывал сухими, узкими губами и внезапно обронил:

— Да. Вы не первый обращаетесь ко мне. До вас у меня была одна русская дама из Москвы,

Ларсен выжидающе замолчал, стараясь понять, что означают только что произнесенные слова: презрение к его наивности или глуповатую гордость ученого, который считает себя волшебником.

— Да, да, — рассеянно повторил профессор Шенманн и после длительной, несколько неловкой паузы заметил: — Меня, откровенно говоря, смущает эта вера в могущество науки. Точно мы боги. Мои опыты в этом деле, в лучшем случае, позволят (я говорю: позволят, а не позволяют) предугадать пол, но чтобы создавать пол по своему усмотрению, я... я... я об этом могу только мечтать вместе с вами... Этих бесстыжих, невежественных газетчиков надо остерегаться, как чумы! Откуда они это взяли, я не понимаю!...

Молчаливый Ларсен не обладал искусством вдохновлять своих собеседников и поддерживать с ними разговор. Он встал, бесшумно вздохнул и сокрушенно заметил:

— Вы меня простите, г. профессор. Я действительно предполагал, что ваши труды в этом направлении... достигли... добились... и, вы понимаете... Прошу прощения,

— Одну минутку, — остановил его старик. — Одну минутку. Присядьте еще на одну минутку. Раз вы пришли ко мне за советом, и даже приехали из Дании, — не правда ли?

Ларсен кивнул головой и насторожился.

— И вдобавок доверили мне свои сокровенные желания, — продолжал профессор, — я, как старый человек, как отец пяти детей, позволю себе спросить вас: чем, собственно, не удовлетворяют вас четыре девочки? Я, конечно, понимаю: чувство гармонии, симметрии, чувство равновесия и отцовское честолюбие заставляют вас желать сына. Понимаю. Но ведь, в конце концов, все это не так уж важно. Право, это не так важно. Если же вы озабочены какими-нибудь другими целями, то я думаю (я даже убежден), что вы серьезно заблуждаетесь. Ваше физическое бессмертие (если вы думаете об этом) ваша дочь пронесет в века так же, как и сын. Ваш **духовный мир** — точно так же.

Ларсен вспомнил три фотографии матери — и у него вырвалось неподдельное изумление:

— Женщина пронесет? Женщина?

Профессор сердито раскрыл глаза, торопливо передвинул очки, ушедшие в глазные впадины, и не без возмущения возразил:

— Извините меня, милостивый государь, но вы говорите с биологом, а не с лейтенантом. Да, женщина пронесет в века все, что надо. Если не в себе, то через себя. Я не знаю, что вам угодно передать будущему, но смею вас уверить, что некоторые вещи ваши дочери сделают гораздо лучше, чем это могли бы сделать ваши сыновья. Кастовую или семейную традицию? Обычай? Национальную идею? Только одна мать и умеет это закреплять в своих детях. Только она. Мужчина — это неутомимый, неисправимый мятежник, искатель новизны, открыватель новых путей и земель, вечно нарушающий инерцию. Он никогда не сидел бы дома, — во всех смыслах! — если бы не бытовая инертность женщины — матери или жены. А надо ли мне вам доказывать, какую благодетельную роль в жизни, в науке, в торговле играет инерция — в умеренных дозах, понятно. Нисколько не преувеличиваю: если бы не существовало женщины, земной мир представлял бы собой безостановочное движение, правда, вперед, но зато очень рискованное. Это было бы бесконечное переселение народов, непрерывное движение идей, которые не успевали бы обрасти эмпирической проверкой. Вот тут-то и помогает полезный тормоз, задерживающий стремительный бег мужчины. Этот тормоз помогает создать нацию, государство, то есть необходимую для социальной жизни инерцию. Другими словами, я хочу сказать, что женщина вносит в духовный мир мужчины — сына или мужа — полезную оседлость, без которой не может существовать никакая культура. И скажу вам по совести: если бы я действительно умел создавать тот или другой пол, я бы поступал точно так же, как поступает природа, производя мужчин и женщин в равном количестве. Мужчины комбинируют, создают, изобретают. Женщины — воспроизводят, повторяют и хорошо помнят.

Ларсен взволнованно повторил про себя:

— Помнят.

Сняв очки, профессор Шенманн бережно сложил их, осторожно вдвинул в потертый футляр и торжественно улыбнулся: беседа была закончена.

## XX

В первые годы после того, как Ивар съездил к профессору, жизнь его проходила в спокойно-педантичном выполнении отцовских предназначений и всего того, что с этим связалось. Уж такой он был человек: ему нелегко было на что-нибудь решиться, но, решившись, он крепко держался принятого, как якорь о землю. Мысли, высказанные профессором, тоже вошли в круг намеченных осуществлений и направляли его заботы о детях. Девочки подрастали и воспитывались под руководством умной гувернантки, которой было сказано: развивать у всех волевые начала, серьезную настойчивость и чувство долга. А про себя Ларсен думал: когда девочки вырастут, точно выяснится, кому из них завещать поддержание семейной идеи.

И все шло гладко, размеренно, просто до тех пор, пока старшая дочь, — ей было тогда четырнадцать лет — не заболела скарлатиной и умерла в три дня. В этом несчастье Ларсен ощутил, кроме опасений за других детей, еще и тревогу за отцовский план. Снова всплыли горькие мысли о злом неудачничестве, которым время от времени судьба перерывает его жизнь. Вспоминая об умершей, он начинал думать, что больше других она подходила для его заповедного дела: в ней было много спокойствия и постоянства. Седая прядь на голове запечатлела эти мысли.

Два года спустя от менингита погибла самая младшая. На этот раз Ларсен старался не терзать себя бесполезными размышлениями. Он упрямо сжал губы и через две недели после похорон уехал на Ньюфаундлендскую мель, чтобы утешить себя расцветавшей жизнью другого своего детища,

которое подавало все признаки незаблемой вечности.

Из двух оставшихся дочерей очень скоро пришлось остановиться на Зигриде. У этой девушки задатки и склонности были явно мужские. Она любила море, верховую езду и властно держала себя с прислугой. Широкоплечая, высокая, безгрудая, она давала основания бывавшим у них в доме молодым людям называть ее валькирией. Как раз все это и нравилось в ней Ларсену. Поглядывая на нее, он не без удовлетворения считал, что этой мужественной девушкой судьба вознаграждает его за отсутствие сына. Профессор Шенманн был, пожалуй, прав, но все-таки сын — это...

В шестнадцать лет Зигрида окончательно была посвящена в проект Петера Ларсена, Отец подробно, ничего не скрывая, рассказал ей о жизни деда и о том, как упорно искался он способа облагодетельствовать родину. Зигрида слушала его и восторгалась. Ее пленило сказочное величие дедовского замысла и жертвенная скромность старика: неизвестно работать для будущих поколений! Она почувствовала в этом ту святую простоту, которую носят в себе поэты, художники, моралисты, прислушивающиеся к своим внутренним голосам и этим удовлетворяющиеся. И когда она высказала свои мысли отцу, он посмотрел на нее с счастливой благодарностью, впервые им проявленной. Да и сама беседа их — во время загородной прогулки — звучала восторженно. У него — от наплыва долго сдерживаемых слов; у нее — от гордости, что она удостоена признаний.

Голова ее была закинута вверх, в небо, где реял перед ней таинственный образ хмурого однодума. Она спросила:

— Но неужели дед сам до всего дошел? Ведь для этого нужны были знания. И еще помощники.

Ларсен покачал головой,

— Он был совершенно одинок. Люди, его окружавшие, были ничтожны. Решительно никто не мог ему быть полезным. Никто. До всего он додумался сам. По чертежам — я тебе завтра покажу их — ты увидишь его первоначальные планы. Они грандиозны, но неосуществимы. По крайней мере, для одного человека. Он это понял и стал искать более простых и скромных путей.



— И всю жизнь скрывать! — воскликнула Зигрид. — Какая выдержка!

Ларсен слегка был задет.

— Его сыну пришлось поступать точно так же, — негромко сказал он. — И быть таким же одиноким. Потому что люди, которые меня окружали, были тоже...

Зигрид нежно взяла его под руку и замолчала.

Ларсен продолжал:

— Тревоги, заботы, сомнения — все было. Но все это оставалось внутри. Ты представляешь себе, какими глазами смотрели бы на меня знакомые, служащие, если бы догадывались о моих планах!

Презрительная улыбка судорогой пробежала по его губам.

— Я уверен, что если бы об этом узнали, мои векселя не учитывались бы ни в одном банке. Векселя сумасшедшего! Да и у себя дома я потерял бы всякий кредит. Нет, нет, такие вещи никогда не надо выносить наружу. Они тускнеют от людских взглядов.

— Разве мать ничего не знает? — в ужасе спросила Зигрид.

— Нет, — твердо заметил Ларсен. — И она не должна знать. И когда у тебя будет муж, пусть он также ничего не узнает. Близкие — это самые опасные критики и недоброжелатели.

Зигрид задумалась. Предстоящее одиночество заполнило ее страхом.

— Мне трудно поручиться за себя, — взволнованно сказала она. — Ведь это значит следить за каждым своим словом и движением. Это ужасно.

— Нет, это еще значит брать на себя полную ответственность за все. Полагаться на свой ум. Томиться сомнениями. Но зато, когда ты во все посвятишь своего сына, тебе станет неизмеримо легче. У тебя появится сообщник, и он снимет с тебя часть тяжелого груза.

— Так же, как ты с себя только что?

— Да, — сказал Ларсен, отводя глаза в сторону, и прибавил: — Очевидно, что язык дан человеку только потому,

что человек не может вместить в себе все возникающие у него мысли. Время от времени надо их разгружать. А вообще говоря, можно и молчать: люди неинтересны и не стоят того, чтобы с ними обмениваться мыслями. Не стоят.

Зигрид с грустью подумала:

«Мне предстоит такое же одиночество. И неужели я так же буду презирать людей?»

Восторг, еще недавно клокотавший в ней через край, заметно остывал.

## XXI

Когда Зигрид исполнилось двадцать лет, Ивар стал подумывать о ее замужестве. На это дело он смотрел точно так же, как некогда смотрел на брак его отец. Ивар лишь изменил его формулу применительно к дочери, но при этом не заметил, что пользуется чужим взглядом.

— Твоя задача, — сказал он Зигрид, с трудом подыскивая слова, точно мысль его впервые предстала перед ним, — остановиться на таком муже, который бы как можно меньше менял твою жизнь. Это самое главное для нас с тобой. Да и для тебя лично тоже.

Зигрид выслушала отца с тусклым вниманием. Любовное томление еще никогда не тревожило ее, но то, что она знала и слышала о любви, заставило ее отнестись к соображениям отца неприязненно хмуро.

Ей хотелось спросить его: «А что, если она влюбится в кого-нибудь? Как тогда?» Но прежде, чем она решилась заговорить об этом, Ивар сказал:

— Твой дед уверял меня, — и мне кажется, он прав, — что любовь — это постыдная болезнь, от которой человек становится мельче и глупее. Когда-нибудь люди это поймут. И что хуже всего, она не дает никакого счастья. Кроме того, когда имеешь впереди ясные задачи, любовь только сбивает с пути. Она просто мешает.

Зигрид вздохнула. Вероятно, оттого, что перед ней собирались закрыть дверь в область, сверкавшую соблазном. По крайней мере, в эти мгновения, когда отец с жестокой бездушной монотонностью говорил том, что так прекрасно звучит в стихах, опере, в романе, а иногда просто в саду или в лунном сумраке леса, она почувствовала себя жертвой наследственного долга: у нее отнимают элементарное право проверить на себе извечное тяготение человека! Несколько дней она размышляла над этим и сравнивала себя с принцессой, у которой династические соображения грубо отодвигают в сторону самые простые влечения сердца. Но так как не о ком было задуматься и некому было мысленно послать прощальный привет, сокрушение незаметно прошло. Напротив: явилась даже насмешливая мысль и на чертала перед ней два слова: принц-супруг.

Она так и оказала отцу:

— Значит, ты подыскиваешь для меня принца-супруга?

Ларсен не сразу сообразил, что это значит, но затем ожившись, закивал головой и ответил:

— Вот именно. Ты выразилась совершенно правильно. Управлять будешь ты, он должен быть только твоим физическим мужем. И уверяю тебя, все будет хорошо.

Принц-супруг был вскоре найден. Он оказался сыном бывшего министра. Его мягкий, отчасти безвольный характер, его безукоризненная воспитанность делали из него удобного мужа, принадлежавшего к породе тех, которые не мешают. Он был настолько податлив, что легко позволил Зигрид сохранить девичью фамилию и передать ее потомству. Остряки утверждали, что он чуть было не согласился отказаться от собственной фамилии.

Принц-супруг любил живопись, театр и ежемесячные английские и французские журналы, разрезать которые было для него не меньшим наслаждением, чем читать их. Средства жены и необязательность участия в работе фирмы позволили ему целиком уйти в воображаемый мир искусства, который создается революционными бурями в студиях и мансардах и мещански замирает в гостиных и залах. В одной из таких зал сложились художественные вкусы мужа

Зигрид. Весь остальной мир — все! все! — казался ему только материалом для первого, иногда мертвым, иногда живым, но зато всегда не очень необходимым. Вдобавок он убежденно считал, что всякое золото должно очищаться в горнах искусства, и в этом он усматривал свою миссию в богатом доме Ларсенов.

Надо сказать, что возлагавшиеся на него надежды он оправдал лишь наполовину. Мешать он, правда, никому не мешал, но через шесть лет он просто перестал быть мужем Зигрида, обосновавшись во Флоренции, откуда посылал открытые письма с чудесными видами и почтительными приветствиями. Письма получали от него все: жена, дети, тесть. Они так не отличались по своему содержанию и были столь часты, что на них никто не обращал внимания, тем более, что число видов Флоренции было ограничено, и корреспонденту приходилось повторяться.

В бегстве его из дома — от жены и двух сыновей — сыграла некоторую роль и эстетика. Старшего из мальчиков природа отметила очень жестоко: он родился с волчьей пастью и заячьей губой. Мать в жалости к нему быстро привыкла к его безобразию. Отец же никак не мог побороть в себе чувства отвращения и за обедом, при виде большого рта до ушей, пересеченного мокрой бороздой, он давился при каждом глотке. Обиженный Богом уродец был не в меру чуток и ясно понимал, что отец не выносит его. За это он оплачивал ему ничем не скрываемой ненавистью, которую излучали его широко расставленные, неровные, косые глаза.

Под предлогом ревматизма, принц-супруг уехал на юг, к солнцу, в Италию — и там застрял. Зигрид его отсутствия почти не замечала.

## XXII

Здесь приходится вспомнить, что в том же доме находилась еще мать Зигрид, жена Ивара Ларсена, избранная

им по тому же рецепту, по какому Зигрид избрала себе мужа.

Это было тихое, бесцветное, неслышное существо, из которого умело вытравили всякие признаки какой-либо индивидуальности, по крайней мере внешней. Никто никогда не слышал, чтобы она о чем-нибудь говорила, чтобы она смеялась, злилась или кого-нибудь упрекала, и люди, ее знавшие, утверждали, что в течение года она произносила не больше 365 слов, ограничиваясь несложными жестами вроде кивания или покачивания головой. В ее ведении было хозяйство, какие-то благотворительные дела и выполнение религиозных правил — за всю семью. В спальне ее кровать стояла рядом с кроватью мужа, отделенная от нее небольшим столиком, но этот столик по существу своему был Гималайским хребтом, не позволявшим обоим супругам видеть и слышать друг друга. Голова этой молчаливой женщины в сорок пять лет уже была совершенно седая.

Однажды в воскресное утро, собираясь отправиться в церковь, уже совсем одетая, она нагнулась, чтобы поправить развязавшийся шнурок на ботинке — и вдруг, покачнувшись, мертвая упала навзничь. Так она пролежала, крепко сжимая в руке Библию, до конца обеда, когда спохватились, что она еще не вернулась из церкви.

Домашний врач, внимательно осмотрев тело покойной, установил разрыв сердца, но при этом странно волновался, кряхтел, пожимал плечами. После этого, зайдя в кабинет к Ларсену, взволнованно сказал ему:

— Случается, что женщины хотят своими средствами освободиться от некоторых... от некоторых, я бы сказал, семейных неудобств. И начинают себя разными сильнодействующими средствами.

— Как вы говорите? — ничего не понимая, спросил Ларсен. — Самоубийство? Это невозможно.

— Я говорю, — бормотал врач, делая неестественно частые глотки, — может быть, она... Вы понимаете: имея внуков, не хочешь казаться смешной. Это только мое предположение. Только предположение.

Ларсен презрительно нахмурился и недовольно отрезал:

— Тогда ваше предположение никуда не годится. Я этими глупостями уже давно не занимаюсь. Лет шесть. Как раз с тех пор, как у нас появились внуки.

Доктор спустил глаза и поспешил подтвердить полную неосновательность своих предположений.

— Так, так. Значит, я ошибся. Да, да, ошибся.

На этом можно было бы покончить с молчаливой супругой Ларсена, если бы через полгода после ее смерти не раскрылось одно обстоятельство.

Осенью, в воскресное предвечерье, когда в доме оставалась только Зигрид со своим уродцем (младшего мальчика дед повел в цирк) из кухни поднялась кухарка Хильда, служившая у Ларсенов уже десять лет. Она заговорила о всяких хозяйственных делах, пожаловалась на дороговизну — и вдруг вспомнила о покойной.

— Когда наступает воскресенье, — скороговоркой заметила она, и голос ее внезапно стал горестно задыхающимся и глухим. — Когда наступает воскресенье, я уж с утра не нахожу себе места. Я иду к одной моей знакомой, вдове моряка, но там я чувствую себя еще хуже и убегаю в слезах.

— Почему же именно в воскресенье? — со вздохом спросила Зигрид, заражаясь настроением Хильды.

Кухарка отвела в сторону свои влажные глаза и ничего не ответила.

— Позвольте мне есть, — умоляющим голосом сказала она.

Усевшись, Хильда опустила голову и, нервно затеребив передник, уныло смотрела, как на серую фланель мерно падали и растекались крупные слезы,

— Ну, уж рассказывайте, Хильда, — произнесла Зигрид и с укором к самой себе подумала о том, что наиобильнейшие слезы о покойной матери пролила кухарка. — Рассказывайте.

И голосом трепетным, тихим и покаянным она рассказывала о своей госпоже странную историю.

Уже шесть лет, как на окраине города существовала у фру Ларсен маленькая квартирка, куда она тайком являлась по воскресеньям, вместо того, чтобы идти в церковь.

Там она сбрасывала с себя темное, немодное, строгое платье с воротником до подбородка, в каком ее привыкли видеть всегда, наряжалась в легкий батист или цветное сукно с кокетливым вырезом на груди. И в новом своем облике, ничем не стесняемая, сразу молодела. Серые волосы казались буклями старинного парика. Голос ее звучал оживленно и радостно, как он звучит у девушки, которая занимается спортом. Официальной хозяйкой квартиры была одна молодая вдова моряка, и обе женщины, торопливо засыпая друг друга словами, садились за обильный завтрак, пили вино и по очереди играли на пианино веселые песенки — те самые, которые можно услышать в Тиволи. Когда же надо было возвращаться домой к обеду, на лицо ее, точно из глаз, падали серые, скучные тени, губы сжимались в тонкую сухую линию. И из боковой двери, открывавшейся на задний двор, уставленный штабелями досок, выходила прежняя фру Ларсен, молчаливо-спокойная, почти что застывшая и немного высокомерная. Иногда то же самое происходило после обеда.

— И если бы вы видели, — восторженно шептала Хильда сквозь горячие слезы, — какая она была гибкая и как она танцевала, вы бы... вы бы... И трудно, невозможно было поверить, что это та самая женщина, которая здесь, вот в этих комнатах, бродила тихая, как муха. Поэтому никто ее не узнавал, когда встречал потом на улице. Никто. Никому и в голову не приходило.

— А разве там кто-нибудь еще бывал? — затаив дыхание, спросила Зигрид.

Хильда смутилась, заморгала глазами, а затем махнула рукой и в отчаянии воскликнула:

— Не может же человек всю жизнь проводить в темнице, а женщина в особенности!

Фланелевый передник у Хильды стал весь мокрый. Ее всхлипывания участились. Прослезилась и Зигрид.

— А вы там тоже бывали? — осторожно спросила она.

Хильда протяжно вздохнула и с гордостью ответила:

— Я очень часто прислуживала им. Особенно, когда были гости. Не управиться же им вдвоем.

А после недолгой паузы, вытерев слезы кончиком чепца, с той же гордостью добавила:

— Это ведь я разыскала ей квартиру. И я же познакомилась с вдовой. Бедная фру Ларсен! И я тоже несчастная. Теперь воскресенье потеряло для меня всякую прелесть. Такая тоска! Такая тоска!

## XXIII

В большинстве случаев Ларсен никого не замечал. Люди проходили через его сознание, как через решето, и застревали в этом решете только те из них, которые могли ему понадобиться в будущем.

Штурман Свен Гольм, служивший у него в транспортном отделе, вряд ли мог показаться ему особенно нужным, но в памяти Ларсена он запечатлелся, как достойный внимания. Ясные ли глаза Свена вызвали к себе хозяйское расположение, фигура ли его, крепкая, могучая, отважная — совсем викинг! — но как бы там ни было, а когда Зигрид захотела как следует научиться управлять парусами, Ларсен предоставил в ее распоряжение молодого штурмана. Легки и уверены были движения Свена. В скромном поучительном спокойствии объяснял он ей, как надо крепить паруса, брать рифы, менять галсы. Научил ее разбираться в румбах и градусах.

Голос у Свена был мягкий и снисходительный, особенно, когда он разговаривал с Зигрид. Так гиганты и атлеты беседуют с малышами.

Однажды Зигрид решила показать свои успехи отцу. Ловко лавируя среди множества судов, она вывела яхту из рейда и, переменив галс, изящно пустила ее вдоль мола. Свен сидел у борта и поощрительно улыбался. Ивар же смотрел на обоих и пальцами пощелкивал по колену. Тот, кто знал его хоть немного, понял бы, что это означает большую удовлетворенность.



В открытом море, где яхта, разворачивая острой грудью спокойные воды, мчалась как птица, Ивар Ларсен проронил два слова:

— Хорошо, хорошо.

Свен почтительно и преданно молчал, но внутри трепетал от радости.

А когда яхта вернулась к стоянке и молодые люди стали убирать паруса, Ивар подумал:

«Славная парочка!»

Но, понятно, сказать он ничего не сказал: избави Бог, да и можно ли было вслух произнести фразу, сочетающую в себе мелкого служащего с дочерью владельца крупнейшей торговой фирмы?

Ларсен вспомнил о Свене лет через пять, когда подарил Зигрид, уже вышедшей замуж, новую яхту, в три раза большую, с четырьмя каютами, с просторной рубкой и кубриком для матросов. Перед первой же поездкой к острову Борнгольму пришлось подумать о том, кому предоставить управление судном. Вот тогда-то припомнились Ларсену преданные глаза Свена, его сдержанность, его крепкие жилистые руки, успокаивавшие при любой опасности. И когда тут же, на яхте, показалась щуплая фигура принца-супруга, нетвердо заскользившего на тонких ногах, Ларсен неясно, словно сквозь сон, противопоставил этого хрупкого, бледного и долговязого выроodka с тусклыми глазами — мужественному Свену, точно вылитому из меди. Тупая досада уколола сердце: от такого зятя вряд ли можно было ждать крепких душой внуков. Вдобавок, один из них — заведомый калека. Смущаясь немного собственных мыслей, Ивар серьезно пожалел о том, что не Свен был их отцом.

Впоследствии, — неоднократно! — раздумывая над неудачным браком Зигрид, Ларсен каждый раз незаметно извлекал из своей памяти живописный образ молодого моряка, чьи глаза таили в себе преданность и постоянство, а плечи и грудь — подкупающую силу.

Однажды получилось известие о смерти принца-супруга. Беспрерывно переезжая из Флоренции в Сиену, из Сиены в Венецию, из Венеции в Рим, он внезапно и загадочно

умер по пути в Сиену. Впрочем, вещи его, присланные на родину, легко раскрыли загадку: вместе с эстампами, гравюрами и книжными раритетами прибыли доказательства его другой страсти — многочисленные шприцы, большие и маленькие, граненые флаконы и готовые рецепты без дат. Как ни был ничтожен ежедневный расход его нервной энергии, но без морфия он не мог обходиться. И чрезмерная доза его навсегда приостановила созерцательные блуждания этого эстета. Решительно никто не ощутил даже кратковременного огорчения при известии о его смерти. И только Ивар Ларсен хмуро насупился, пожевал губами и тяжело вздохнул: неожиданная смерть зятя заставила его еще раз подумать о неудачном замужестве дочери и об уродливом внуке. И тогда снова всплыл перед ним бодрый силуэт Свена Гольма, которого он бы хотел... видеть... поближе — к себе.

Эта же мысль пришла ему в голову за два месяца до смерти, когда врачи обнаружили у него быстро прогрессирующий артериосклероз. Вместе с горечью о слишком скорой смерти его охватила тревога за одинокую и слабеющую от несчастья Зигрид. Три последних года она целиком отдала своему старшему сыну, калеке. Три раза ему зашивали нёбо и три раза на пятый день швы расходились. Берлинский хирург, всемирная знаменитость, непревзойденный артист своего дела, предрек несчастному уродцу полную безнадежность. Этот приговор, разогнав все надежды, казалось, навсегда оглушил Зигрид и погрузил ее в отчаяние. Даже Ивару, ничего не замечавшему, было видно, что она истекает страданием.

Он думал:

«Если бы на месте Зигрид был мужчина, он давно примирился бы с несчастьем, но Зигрид — женщина, легко поддающаяся чувству. (Профессор Шенманн был глубоко неправ.) Необходимо, чтобы на ее плече была твердая, спокойная рука мужчины».

Воображение у Ивара Ларсена было слабое. Болезненное состояние еще более сузило круг его умственных захватов. Перебрав всех тех людей, которые могли бы влиять

на Зигрид бодрым спокойствием мужского разума, он уткнулся в того же Свена Гольма.

Несколько лет назад даже для него самого это была бы нелепая мысль — взрослой дочери, матери двоих детей, дать в друзья и советчики одного из своих мелких служащих. Но теперь эта мысль несколько не смутила его. Напротив, она вполне ответила его основному требованию, которое он предъявлял этому избраннику — чтобы он был предан ему, Ивару Ларсену. Кто же другой, кроме Свена, способен на беззаветную преданность? И кому другому можно поручить заботиться о Зигриде без всякого опасения, что этот опекун захочет быть господином в доме?

И Ларсен, недолго раздумывая, вызвал Свена к себе в виллу в Клампенборге, где уединение и тишина оберегали его ломкое сердце от волнений и беспокойств.

— Свен, — оказал он, вглядываясь в его честные, ясные, немигающие глаза. — Я хочу рассчитывать на твою преданность. Могу я на это рассчитывать?

Но тут же чуть-чуть насмешливо улыбнулся своим собственным словам.

— Впрочем, кто же решится сказать больному «нет»?

Свен ответил:

— Я весь к вашим услугам, г. Ларсен. Но разрешите мне, если ваше приказание будет мне не по силам...

— Нет, я не собираюсь приказывать. Я хочу просить тебя, Свен. Только просить.

— Я слушаю вас, г. Ларсен.

Старик потер лоб, устало провел рукой по лысеющей голове и сказал:

— Ты мне всегда нравился, Свен. Мне всегда казалось, что ты прямой, честный человек. И еще мне казалось, что ты... что тебе.. что ты предан также моей дочери. Вот почему я вызвал тебя сюда. Мне скоро конец. Врачи (так уж полагается) меня успокаивают, но я вижу отлично: смерть уже близко. А между тем, Зигрид очень одинока и несчастна. Но нет, я не то говорю. Совсем не то. Видишь ли, Свен. Кроме того большого дела, о котором все знают, у меня есть еще одно большое, важное дело, о котором никто не

знает. Кроме Зигрид, разумеется. И вот я хочу найти такого человека, который был бы предан этому делу так же, как был ему предан я. Зигрид... да, конечно. Она вполне прониклась сознанием важности этого дела. Она умный человек. Она толковый человек. Но, видишь ли, — она женщина. Сейчас, например, в ней говорит неутешная мать, и все то, что вне этого, ее не занимает. Между тем, о моем деле нужно думать всегда. О нем никогда не забывал мой отец, о нем всегда думал и я... Я говорю не о торговом своем деле: там у меня много надежных людей. Я говорю о другом деле, в которое посвящу тебя потом. И вот мне пришла в голову мысль поручить тебе заботиться об этом деле — после моей смерти. Оно не требует ни подвига, ни жертв. Никаких жертв. Надо только не забывать о нем. Я тебе потом подробно расскажу, в чем оно заключается. Но прежде ты должен дать мне обещание, что обязанности ты выполнишь до конца. Можешь ты мне дать такое обещание?

Свен Гольм растерянно пожал плечами, и виноватая детская улыбка затемнила его розовое лицо.

— Г-н Ларсен, чтобы честно дать обещание, я должен знать, каковы мои обязанности, — сказал он.

— Ну, конечно, конечно, — несколько раздраженно подхватил старик. — Это ясно. Но я же говорю тебе: жертв никаких не требуется.

Он на минуту призадумался, с опаской посмотрел на Свена и затем продолжал:

— Представь себе, что растет дерево, посаженное еще твоим отцом. Он завещал тебе ухаживать за ним. Это не так трудно, не правда ли? Но вот что будет трудно: дерево переживет тебя, и в один прекрасный день надо будет найти верные руки (очень верные руки!), чтобы передать им заботы об этом дереве в дальнейшем. Найти или воспитать достойного наследника. Вот что действительно трудно. Ты можешь взяться за это? Или погоди. Еще не давай ответа. Я вам обоим поручаю это дело — Зигрид и тебе. Я повторяю: она умная, положительная, но она — женщина. Ей нужна подпорка — понимаешь? Женщина умеет видеть только то, что находится возле нее. Далекое, грядущее она не

представляет себе и очень легко может, забыв о цели, увлечься средствами. Средства и станут для нее целью. Вот тут ты и нужен — понимаешь? Ни на одну минуту ты не должен из своих рук выпускать компаса. Ни на одну минуту. Но надо это делать так, чтобы ей представлялось, будто она сама управляет — ведь ты только служащий. Понимаешь?

Странные и необычные минуты переживал Свен. Мгновениями казалось ему, что старик, с тупой настойчивостью внедрявший в него свое завещание, сошел с ума. Другие мгновения откосили его в блаженный полусон, который осуществлял его тайное заветное желание приблизиться к недоступной Зигрид и не скрывать перед ней своего преклонения.

— Г-н Ларсен, — с кривой усмешкой оказал он почти сквозь сжатые губы. — Ваша дочь еще совсем молодая женщина. Она может во второй раз выйти замуж — о каком же компасе может быть речь?

— Замуж? — повторил Ларсен и презрительно, гадливо поморщился. В глазах его заметался внезапный испуг, который ясно дал понять, что мысль Свена никогда не приходила ему в голову.

Его мертвенно-желтый подбородок уперся в грудь и застыл. Застыли и слова. Но вот подбородок отделился от груди и медленно стал подниматься вверх.

— Замуж... М-да. Это верно. Тогда, конечно, все может измениться. Этого я опасался еще тогда, когда она была девушкой. К счастью, брак ее в этом отношении был удачным. Ты прав.

Снова наступило молчание и — затянулось. Снова упал желтый подбородок, но он теперь ерзал и беспокойно двигался по галстуку, точно ощупывая наименее колючее место.

— Ты ведь не женат? — спросил вдруг Ларсен.

— Нет.

Старик с внимательным дружелюбием перекрестно оглядел Свена и тем фамильярно-игривым тоном, каким беседуют между собой мужчины, сказал ему:

— Ты же мужчина, черт побери! Красивый и видный парень. Перед тобой отступит всякий. Настойчивость — вот что тебе нужно! Настойчивость — это большая сила. Только советую тебе: никогда не старайся быть господином и никогда не забывай, что ты только служащий. Это мой совет.

Свен Гольм смутился, покраснел и стыдливо, как юноша, опустил глаза. Густой румянец, вспыхнув на его щеках, медленно разлился по всему лицу и добрался до шеи.

Он чувствовал себя так, точно старик Ларсен услужливо открыл перед ним дверь в спальню своей дочери.

## XXIV

Прошло несколько месяцев после смерти Ларсена (умер он внезапно сидя в кресле и читая газету), и Свену Гольму не оставалось ничего другого, как решить, что Зигрид о нем забыла. За это время произошла перемена в самой конторе, где единовластие старика заменилось постоянным совещанием при владелице фирмы, и без него она не принимала никаких решений. Свена это не коснулось ни с какой стороны. Чтобы напомнить о себе, он несколько раз старался попасться ей на глаза, но это не помогло: встречи прошли бесследно. Она отвечала на его поклоны точно так же, как ответила бы всякому. Свен сокрушенно поник. Три разговора с Ларсеном представились ему обидным празднословием, которое породило глупые ребяческие иллюзии. Иногда даже начинало казаться, что и таких разговоров не было, что все это сон, принятый за действительность. Компас, подпорка, заботы — не придумал ли он это сам, мечтая о приближении к Зигрид.

А между тем, она не забывала о Свене ни на один день. Точно неотвязный, надоедливый груз, точно клин в голове, донимали ее два слова: «Свен Гольм, Свен Гольм». Разбираясь в завещании отца — это было на второй день после его похорон, — она вспомнила осторожную недоговоренность старика, его чересчур ласковое покашливание и

многозначительный рефрен, заканчивавший его наставление: «Поверь мне, старику: преданность — это такая редкая вещь, что ее надо предпочесть любви; это больше, чем любовь». И только теперь, — возмущаясь и негодуя, — она сообразила: отец просто-напросто завещал ей избрать своим любовником Свена Гольма! Какой наивный старческий деспотизм. И какая циничная неприкровенность, достойная глухого средневековья! Если бы это не исходило от отца, только что погребенного, только что оплаканного, она бы назвала его бесчувственным, рассудочным извергом, для которого все средства хороши. Ну, конечно: опасаясь неизвестного ему второго мужа (или возлюбленного), он заботливо подыскал для нее любовника с испытанной преданностью. Попросту — выбрал для нее раба. И еще возможно, что он успел намекнуть об этом самому Свену — и тот уже, пожалуй, наслаждается рабской гордостью предстоящего обладания своей госпожой.

С этой минуты Зигрид яростно возненавидела Свена. На медленном, непотухающем огне этой ненависти он вырастал перед нею в виде коварного, отвратительного чудовища, которому она безжалостно предназначена в жертву. И вот торчал он в голове, как тяжелый зазубренный клин, о котором никак невозможно забыть.

Не совершить ли операцию сейчас же, сразу, чтобы навсегда отделаться от порабошающих мыслей и освободиться от неотступной досады? Не показать ли ему — чтобы он не зазнавался! — его настоящее место?

Но рассудительность, никогда не покидавшая ее, тут же напомнила: сильно задеть Свена тоже не годится, потому что его надо использовать для заповедного дела. В размышлениях о том, как безболезненно дать ему понять, что у него только одна роль, проходили дни, недели и месяцы. И, так как Свен не проявлял никаких попыток приблизиться к ней, ненависть у Зигрид слегка остыла.

Тем временем произошло несчастье. Оно заслонило для Зигрид все прошедшее, все предстоящее и заполнило ее отчаянием: трагически погиб ее старший сын, уродец с волчьей пастью и заячьей губой. Его обычно кормили жидкой

или перетертой пищей. Но глаза мальчугана жадно скользили по чужим тарелкам, где так живописно пестрели зеленые огурцы, красные томаты, розовая ветчина. Однажды он забрался в буфет и, найдя там яблоко, вонзил в него зубы, вечно бездействовавшие и скучавшие по твердому. От торопливости ли, от опасности ли быть застигнутым он попытался проглотить неразжеванный кусок — поперхнулся, закашлялся и вдруг в ужасе посинел: кусок застрял у него в носоглотке и приостановилось дыхание. От страха, что сейчас все раскроется, он забился под стол и, когда через полчаса его обнаружили, мальчик уже был мертв.

Если бы Ивар Ларсен был жив, оно окончательно утвердилось бы в своем взгляде на женщину. Зигрид, трезвая, деловая, рассудочная Зигрид внезапно преобразилась в волчицу, у которой отняли детеныша. Она металась по дому в необузданной ярости, с искаженным лицом, разогнала прислугу, отхлестала по щекам бонну и выбросила ее за дверь. И только потом, к вечеру, полились из ее глаз обильные, крупные слезы, упавшие на кружевной костюмчик, в который обрядили ее уродца. Она легла спать рядом с ним, ночью несколько раз просыпалась, зажигала свет и прикладывала к губам мертвого ручное зеркало — не дышит ли он.

К похоронам явилось много народа. Но подлинного соболезнования не было, конечно, ни у кого. (Как можно оплакивать смерть такого калеки! Слава Богу, что он умер!) Непогрешимым материнским чутьем она ощутила это сразу, ни на кого не глядя, и властным жестом крепкого в себе одиночества она отстранила всех тех, кто пытался в эти минуты чем-нибудь помочь ей. Двое погребальщиков уже взялись было за гробик, чтобы отнести его вниз. Зигрид грубо оттолкнула их. Презрительное равнодушие этих чучел к уродливому, посиневшему трупу ее мальчика резануло ее остро. Цепкими руками она сама ухватилась за гробик и на твердых, спокойных ногах стала спускаться с ним к катафалку. Испуганно все расступались перед ней. Никто не осмелился приблизиться... И только сзади неслышным шагом ступал за ней Свен, готовый подхватить и



ее и гроб, если это понадобится. Зигрид его не видела. Но она почувствовала его тревожный и преданный взгляд, устремленный через ее плечо. На крутом повороте лестницы было такое мгновение, когда ее уколол страх, что она не донесет сына до катафалка: сильно затекли руки. Она беспокойно чуть-чуть задержалась на месте и устало шевельнула плечами. И тогда сзади, с двух сторон, у ее боков протянулись крепкие пальцы, напоминавшие ей, что неотступная преданность у нее за спиной.. Это придало ей силы и она двинулась дальше.

В этот день она Свена больше не видела, но на второй или третий день, перебирая в памяти все подробности погребения мальчика, она о нем вспомнила и улыбнулась с теплой печалью.

Вернувшись к делам, она снова подумала о Свене, как о самом преданном из своих служащих. Кстати, она вспомнила, что пора уже послать его на Ньюфаундлендскую мель. Она вызвала его в контору. Его смущение, его молчаливая покорность сразу успокоили ее насчет того, что ему внушены на нее какие-то права. К тому же он участливо вспомнил об умершем, которого он три года назад катал на яхте. Его ясные, простые, немигающие глаза, его детская розовая улыбка устраняли всякую мысль о неискренности. И тут же, расспрашивая Свена о предстоящей поездке — знает ли он все, что надо делать? — она подумала: «Я оклеветала его в своих мыслях, он всего только преданный раб; это приятно». Прежний клин в голове — надоедливый груз! — незаметно видоизменился. Крепко засело бодрящее сознание (тоже клин, но не беспокоивший!), что у нее всегда имеется про запас послушная добрая сила, не способная предать. Так иногда чувствует себя пугливая, мнительная барыня, которая уверена в своем кучере и с ним не боится самой быстрой езды. А заодно этот кучер был еще красивый, мужественный парень, похожий на викинга и, по-видимому, боготворивший ее.

О том, в какую сторону все это повернется, Зигрид могла бы узнать из старинной книжечки, которая оказалась среди вещей ее покойного мужа, прибывших после его смер-

ти из Сиены. Этот томик заключал в себе наставления опытного сердцеведа 17-го века и назывался «Новейшее искусство благополучно любить». В одной из глав ее новейший Овидий говорил так:

«...Пусть, однако, утешится и тот, кому не отпущено приятного дара сразу пленять женщин и без труда овладевать их покорной благосклонностью, особенно, если он иного звания, нежели его дама. Для успешного достижения сладкой цели ему надлежит прежде всего вооружиться терпением, настойчивостью и неуязвимым смирением, ибо осаждаемая особа, не испытывая благоволения к кавалеру, не останавливается перед тяжким унижением его. Пусть неукоснительно окружает он ее непрерывным вниманием, подарками и неожиданными радостями. Пусть венецианское зеркало в золотой оправе, в которое она поминутно заглядывает, носит на себе незримую печать его нежности. Пусть черепаховый гребень, которым она расчесывает свои прекрасные волосы, будет его подношением. Пусть попутай, обезьянка или потешный песик, обученные забавным штукам, будут в ее памяти связаны с его преданным смущением, с каковым он подносил ей то или другое. Короче говоря, все, к чему она может прикоснуться и обозреть, должно напоминать ей укоризненно о ничем не вознагражденном поклоннике, дабы в мыслях ее закрепился его неотступно-молящий образ. И тогда он может быть уверен заранее, что в часы невзгоды, огорчения или одиночества, либо в тайные часы томления тела, когда шаловливый и требовательный Эрот понуждает воображение к сладостной игре, — его имя, его образ, его покорная преданность явятся первыми на ее смутные зовы о чьей-нибудь помощи. Пусть только чутко подстерегает он решающий час, дабы мгновенно очутиться перед нею, точно по волшебству. В этот час он неминуемо будет вознагражден за долгие унижения, за бескорыстные чувства. Однако же в бурной радости обладания нелегкой добычей пусть не забывает он, что в этот зыбкий, решающий час надлежит ему крепко запечатлеться в ее памяти, то есть показать себя с наивыгоднейшей стороны. Иначе его первая победа будет и последней».

Случилось это тогда, когда пришло неизбежное. Сам собой — точно с горы — тронулся Гольфстрем запоздавших желаний, и неодолимая первосущность бурно сдвинула заграждения условного. Новый клин в голове терзал и томил. Глаза у Зигрид налились жадным исканием. Сумасшедшие вздрагивало иногда тело. Снились влажные, длительные, незавершенные поцелуи. Воспоминания о муже казались внушенными: был ли он на самом деле? А когда запылала весна, на зовы томлений стали сбегаться утоляющие образы и — действительно: первым из них, впереди других, возвышался тот, кто всегда был под рукой, кто наименее утешал, преданный, покорный, молчаливый и одновременно мужественный — Свен Гольм.

Тем же летом Зигрид, маленький Петр, бонна и кухарка выехали на яхте, чтобы две недели провести в фиордах. Соленая свежесть моря оросила желания. Уединение уплотнило их. Бездеятельность настужь раскрыла чувственный мир. И вот однажды ночью Зигрид внезапно появилась в дверях капитанской каюты и остановилась, как сомнамбула. Свену в это время снилось, что он ведет свое судно из открытого моря в узкий, извилистый рейд и что сильная волна отбрасывает его в сторону. Он резко повернул непослушный штурвал — и проснулся. Зигрид, вся в белом, походила на привидение. Отмахиваясь от призрака, Свен случайно прикоснулся к горячей, вздрагивавшей женской руке и задрожал сам. Это длилось минуту, а может быть, и час, пока Зигрид, беззвучная, тихая, щедро не позволила ему снять с нее непосильную тяжесть наплывших томлений.

А впоследствии совершилось обычное: Свену было дано разрешение заказать для себя два ключа от входных дверей...

## XXV

Мать, дед и прадед растворили себя в заповедном деле и уподобились тем смиренным кораллам, которые в вели-

ком молчании строили подводную твердь. Петер Ларсен, неизвестно откуда, точно совсем чужой, принес в свою семью яд личного честолюбия и уже с юношеских лет пытался мыслить себя самостоятельным эпизодом в истории Ларсенов. Этот яд, однажды запавший в его мозг, безостановочно совершал свою работу, и в беспокойных судорогах проходила жизнь Петера. Мысль о том, что он всего только безликое передаточное звено, которому назначено выполнить очередную маленькую роль и неприметно уплыть назад, как уплывает волна от корабля, донимала его беспрерывно. И поэтому всякая другая мысль, возникавшая в его голове, самая обыкновенная, житейская, тотчас же примыкала к главной и окуналась в жидкий пламень честолюбивых помыслов. От этого с течением времени все больше и больше тускнел его внутренний неутомонный огонь, мельчала его мечта и незаметно для себя самого он оказался во власти неукротимого тщеславия, которое распирало его душу.

Но, слишком робкий, половинчатый и самолюбивый, он не отваживался на явное выставление своей личности и ждал, пока это сделают за него другие. Эти другие упорно не находились. Скорее всего, они просто не догадывались, чего он от них ждет. И от нетерпения на худом, бесцветном лице Ларсена легли складки высокомерной горечи, как у человека, который случайно забрел в скучный, несправедливый и ко всему равнодушный мир.

Два раза, по примеру своих предков, он ездил на Ньюфаундлендскую мель и опускался там на дно. В темно-зеленой густой глубине, через толстое стекло водолазного шлема, он озираал неясные очертания поднимавшегося острова, но вместо гордого ларсеновского трепета, вместо пламенеющего восторга он ощутил звенящую досаду, что никто его не видит и поэтому ее может оценить ни его покорной жертвенности перед предками, ни его жизнеопасного подвига. Чтобы хоть как-нибудь вознаградить себя за рискованную экскурсию на дно океана, он сфотографировался в костюме водолаза и снимок приобщил к старым доку-

ментам и реликвиям, для которых уже не хватало места в черной шкатулке из эбенового дерева.

Но снимок, запрятанный в папку, не утолял его тщеславия. Напротив, он дразнил его тщеславие, беспокоил, раздражал. И вот однажды он достал этот снимок, велел сделать с него копию и отправил ее знакомому журналисту, который некогда интервьюировал его по вопросам внешней торговли для новогоднего номера своей газеты. Стремительный журналист, походивший на фокстерьера, сначала занес свою визитную карточку, потом прислал многословное благодарственное письмо, а еще через несколько дней доставил ему номер иллюстрированного журнала, на первой странице которого было изображено чудовище, закованное в броню и пучеглазое — совсем марсианин! Под рисунком значилось: «Г. Петер Ларсен в гостях у Посейдона».

Мать, увидав иллюстрацию, укоризненно покачала головой, и бессильная усмешка дрогнула у нее на лице. Не разборчивое тщеславие сына начинало беспокоить ее.

Петер оправдывался:

— Они пристали, чтобы я... Надо было отделаться... Газетчики ведь так назойливы. Но, во всяком случае, они ничего не знают.

Тот же журналист, нащупав слабое место Ларсена, стал убеждать его написать какую-нибудь книгу и предложил свою помощь.

Журналист говорил:

— Ваша книга несомненно привлечет к себе широчайшее читательское внимание. Тираж в 3000 обеспечен. Не правда ли — всякому будет интересно познакомиться с взглядами человека, который стоит во главе такого... Или даже просто: наследственный опыт. Ведь это тоже чего-нибудь стоит. Наконец, отделения во всех странах света — значит, естественная широта взглядов. И, пожалуй, одних ваших служащих достаточно, чтобы раскупить все издание. Не правда ли? А я берусь помочь вам. Ваши мысли, ваши идеи, ваши предвидения — не сомневаюсь, что это уже давно у вас отчеканилось. Я же готов предложить вам свой стиль, свой

литературный опыт, свой типографский опыт.

Ларсену понравилась эта идея. Прямо-таки понравилась. Изящно изданная книга на хорошей плотной бумаге, с виньеткой, изображающей химеру с *Notre Dame de Paris*. Это он видел на книге Анатоля Франса.

— Я подумаю, — с усталой улыбкой сказал он. — У меня действительно накопились кое-какие мысли. Да, вы правы. Кое-что я видел на своем веку. С молодых лет приходилось задумываться над многим. Но я не знаю, будет ли это интересно для рядового читателя.

— Ну что вы, г. Ларсен! — с оттенком возмущения подхватил журналист. — Мы переживаем такое скучное, подражательное время, что всякая оригинальная, непосредственная мысль котируется на вес золота. Нет, нет, г. Ларсен. Поменьше скромности! К черту скромность! Я знаю по себе. Я...

Журналист взялся за дело энергично и через несколько дней принес образцы превосходной пергаментной бумаги для будущей книги и образцы шрифтов.

Тогда Ларсен сел писать. Чтобы ему никто не мешал, он решил работать по ночам и радикально изменил распорядок своей жизни. При этом ему показалось, что толстые восковые свечи создают для творчества наиболее благоприятную обстановку. По крайней мере, он читал где-то, что так работает Габриэль д'Аннунцио.

Десять или двенадцать дней Ларсен носил маску крайней озабоченности, задумывался во время деловых разговоров, отвечал невпопад и неизменно жаловался на шум, доносившийся с улицы.

В прекрасной кожаной папке, отороченной матовым серебром, лежала рукопись. Названия еще не было. Она начиналась так:

«Есть две философские школы, разно относящиеся к роли личности в истории. Одна из них умаляет ее, другая отдает ей первую роль. Но ни одна из них не отрицает ее значения».

На этом рукопись кончалась.

Надо думать, что и в женитьбе Петера Ларсена немалую роль сыграли тщеславные соображения. По крайней мере, был такой период, когда он испытывал блаженство пристального к себе внимания и умышленно попадался всем на глаза, чтобышний раз напомнить о своей особе и вызвать разговор о девушке из бара «Какаду».

Был такой бар, и была такая девушка. Она обычно стояла за прилавком между двумя неграми в оранжевых фраках и походила на статую, рядом с которой без передышки бесновались фигляры: это негры изготовляли прохладительные смеси, коктейли и пьяные лимонады, обжигавшие, как расплавленный свинец. Сотрясая длинными сверкающими стопками, входившими одна в другую и заполненными кусочками льда, они вызывали неистовую, зудящую трескотню, напоминавшую о трескотках прокаженных. Их колыхавшиеся фраки казались языками адского пламени; их гримасы — эпилептическими судорогами. А сидящие против них молодые и старые люди с обнаженными черепами, медленно цедившие янтарные, золотые и зеленые напитки, в своих скудных и вялых жестах казались жертвами, которые на вечные времена обречены следить за движениями негров и слушать их адскую трескотню.

Такой же жертвой казалась и та, что в застывшем спокойствии стояла между ними — изящная девушка с густыми ресницами и слетка вспухшими, как у детей, губами, в уголках которых притаились иронические тени.

Владелец бара придумал неглупо: среди черных беснующихся эксцентриков поставить Миньону, не улыбающуюся, неразговорчивую, с тоской в глазах. Впрочем, трюк заключался еще и в другом: девушка была русская, из родовой семьи, княжна, и завсегдатаям «Какаду» было лестно получать бокалы из тонких рук титулованной подавальщицы и болтать с ней по-английски и французски.

Революция выгнала княжну из родной страны вместе со стариком-отцом, вытесняя их постепенно — сначала из

подмосковного имения на юг, с юга на Кавказ и в Батум. На паспорте ее, как злые сувениры, пестрели 11 виз — красных, синих, малиновых и цвета недолгой копоты. И каждая виза, как раскаленное тавро, выжигала в ее душе кровавый рубец. До Копенгагена доплелся комок издерганных нервов и еще сердце, истекавшее последним отчаянием. Копенгаген встретил хмуро, негостеприимно, но все-таки приютил — уроками французского языка и вышивками на шелку. Потом подвернулся изобретательный владелец бара «Какаду», изощренный ловец доходных человеков. Он оценил сразу — Миньона! Для контраста приставил к ней потных гримасничавших негров, и это редкое сочетание, как сладостная боль, извращенно уязвляло пьяневших гостей. Они подолгу цедили свои густые коктейли, не спуская глаз с застывшей княжны, а затем раскошеливались и оставляли ей щедрые чаевые. Двести двадцать, двести пятьдесят крон для двоих было немного, но старый князь прикинул своими мышиными глазками, что в измельчавших франках это звучит громче и умчался в Париж, чтобы, получая от дочери половину, попытаться догнать там видения молодости. В маленькой каморке пансиона фру Кок, в соседстве с беспрестанно всхлипывавшей уборной, проводила княжна Тумасова свои дни — всегда в мыслях об одном и том же, об одном и том же — о России и себе. Старый князь рассуждал просто: раз его в России нет, значит, Россия погибла и никогда больше не воскреснет. Ей же в бегстве оттуда виднелась измена перед оставшимися, а в службе у кабацкого прилавка и лишний нравственный перерасход: унижительную работу ведь можно было совершать и там, ни перед кем не унижаясь, ибо не перед кем было унижаться. И еще терзала незаглушавшаяся боль недавнего — беженское отчаяние в Константинополе, толкнувшее к последнему женскому прибежищу. Безобразный коротконогий грек с маленькими жирными руками и чмыхающим носом ловко подхватил то, что предназначалось для избранника. Почему роль возлюбленной грека оказалась менее унижительной, чем роль переписчицы в каком-нибудь захолустном совдепе? Почему чесночно-оливковый



запах грека был лучше, чем запах мужицкой махорки?

Эти запоздавшие мысли жалили ее беспрестанно — до тех пор, пока перед стойкой бара не появился Петер Ларсен и своим резким вниманием не заставил ее забыть горестную быль. На высоком табурете, ничего не замечая вокруг, просиживал он целые вечера, расспрашивал ее о России, о Турции, об английской литературе. Если бы это не был Ларсен, богатейший человек в Копенгагене, владелец «Какаду» давно бы сделал ей грубое замечание за чрезмерную любезность к одному только гостю. Но ради Ларсена можно было пренебречь другими. К тому же необычайные темы их бесед поднимали пьяный трескучий бар до уровня салона. О нем так и говорили: салон русской княжны. Нашлось немало снобов, которые из-за одного этого предпочли «Какаду» всем другим барам и приезжали сюда исключительно для того, чтобы посмотреть, кем так увлекается Ларсен. От этого княжна почти вдвое выросла в его глазах. Само собой разумеется, она это тотчас почувствовала и незаметно втянулась в развлекавшую ее игру.

Однажды, болтая о старинных книгах, которые остались у него после отца, он вдруг спросил ее, читала ли она когда-нибудь «Манон Леско». Он впервые прочел этот роман вчера.

Княжна кивнула головой и слегка насторожилась.

Петер обрадовался случаю поговорить на эту тему и заметил:

— По-моему, автор нехорошо сделал, что отправил Манон умирать на чужбину.

— Почему? — холодно спросила Тумасова, и губы ее вздрогнули.

— Новая страна, — сказал он, ничего не замечая, — переродила эту очаровательную грешницу и сделала ее святой, то есть неестественной и скучной. Нет, это не в моем духе.

Тумасова ничего не ответила и, хотя улыбнулась, но тотчас же заговорила с другим.

Только тогда он сообразил, что его последние слова она могла принять на свой счет, и острая досада сразу взвин-

тила его, тем более что княжна стала заметно уклоняться от разговора. Настроение его мгновенно переменялось. Он не мог спокойно сидеть на месте, теребил волосы, тер лоб и кусал губы. Как, она подумает, что он настолько бестактен! Так вот, извольте: он тотчас же предложит ей выйти за него замуж. Тотчас же!

Эта бешеная минута решила все. Он, правда, отказался от мысли тут же у стойки заговорить о браке, сообразив, что она примет это предложение, как сделанное с пьяных глаз. Но, вернувшись домой, он написал ей длинное, многословное письмо — ни одна женщина не нравилась ему так, как она; другого такого умного, сердечного человека не существует; сегодня он это ясно почувствовал и т. д. Сам процесс писания и подыскивание нужных слов утверждали его в тех мыслях, которые возникали тут же за письменным столом. Мелькали предвидения: изумление знакомых, оживленные пересуды, восхищение его смелостью — жениться на девушке из бара! Он заранее ликовал — ага, вот вам! Вы еще не знаете Петера Ларсена!

В эту ночь он не мог заснуть. В четвертом часу, вскочив с кровати, он снял копию с письма и спрятал ее в шкатулку из эбенового дерева. Не в ту, в которой его прадед хранил все относящееся к Гольфстрему, а в другую, точно такую же: Петер Ларсен заказал ее специально для своих бумаг и для своих документов. Затем, крадучись, набросив на себя пальто, спустился на улицу и опустил письмо в ближайший почтовый ящик, чтобы оно получилось приблизительно к обеду. Затем он снова лег, и самодовольная улыбка долго не сходила с его лица: он благословлял ту минуту, когда досада продиктовала ему такую неожиданную, такую превосходную идею.

Уже начиная засыпать, он подумал:

«И если она откажет, тоже выйдет красиво — он будет молча страдать, уедет, скажем, во Флоренцию, откуда отправит ей целый ряд трогательных писем. Тогда она оценит его настойчивость и, конечно, уступит».

Но, пытаясь вообразить ее перед собой, он вдруг вспомнил, что никогда не видел ее ног: ведь беседовал он с ней

через стойку буфета. Фигурка у нее была изящная, с приятными закругленностями. Шея как у статуи — точеная. А ноги? А вдруг они кривые? При коротких юбках это ведь ужасно. Да нет же, у русских женщин всегда бывают красивые ноги.

Подкравшийся сон захватил с собой последние мысли и на них выстроил сладостно-чувственное видение, длившееся до утра.

## XXVII

Три дня не получалось никакого ответа. Три вечера Петер не показывался в баре, но зато послал телеграмму, в которой настойчиво просил отнестись к нему серьезно. Письмо пришло на четвертый день.

В простых, благоразумных словах, точно взрослый писал незрелому, княжна доказывала Ларсену безрассудность его предложения. Существуют условности, перешагнуть которые не легко. Положение, им занимаемое, обязывает к осмотрительности. Она вполне верит в искренность его чувства, но заранее убеждена, что увлечение, возникшее в баре, испарится так же быстро, как испаряются винные пары. Вдобавок у него есть мать. Нет никакого сомнения в том, что поступок сына огорчит ее, и семейный раздор неминуем.

«Давайте забудем обо всей этой переписке, — предлагала княжна, — как будто ее не было, и возобновим наши милые беседы, неожиданно прерванные. Так будет лучше».

В последних строках он увидел ее мягкую улыбку и зажегся сильнее прежнего. Последовало новое письмо, более пространное, более настойчивое. Условностями он пренебрегает. Осмотрительностью тоже. Положение в обществе? Как раз наоборот. Именно он может позволить себе возвыситься над глупыми предрассудками. Наконец, при чем здесь осмотрительность? Она ведь не профессионалка, работающая за стойкой кабачка. Ее служба вынужденная. Сегодня

она в баре, а завтра она его секретарша, ведущая у него иностранную корреспонденцию.

«Я тоже предложу вам, — писал он в заключение, — забудем, что мы встретились в баре. Я прошу руки княжны Тумасовой, с которой я познакомился, скажем, на балу».

Ее второе письмо было исполнено заметной взволнованности. Она искренне писала ему: «Я вас очень прошу — не искушайте меня беспокойными соблазнами. Я давно примирилась с тем, что мне суждена жизнь жалкая и скудная. Ваши письма только колеблют мое смирение или, если проще выразиться, кружат мне голову».

Тогда он отправился в бар. Было еще рано. Негры только лишь переодевались и горланили за стеной. Воспользовавшись их отсутствием, Петер торопливо повторил то, что он писал в письмах.

Лицо у Тумасовой стало бледным. Учащенно замигали ресницы. Улыбка смущения пронеслась под глазами, опустилась ко рту и застыла в виде тени, удлинившей губы. Нисколько не подозревая в нем тщеславного желания удивить весь Копенгаген, она поразилась его гордым пренебрежением к тому, что о нем будут говорить: женился на девушке из бара!

— Я подумую, — сказала она едва слышно.

Он согласился, но просил ускорить ответ.

После этого он выпил немного пунша, затем слез со своего высокого сиденья и, став сбоку прилавка, улучил момент, чтобы посмотреть, какие у нее ноги. Все обстояло благополучно. Тогда он пешком отправился домой и всю дорогу рисовал перед собой ту картину шумного изумления, которым будет встречен его поступок.

Через два дня, донимаемая Петером, Тумасова уступила. Но поставила условием согласие матери.

Это ему очень не понравилось. Согласие матери окрашивало его смелый поступок мещанской, будничной краской. Он отказался говорить с матерью и предлагал немедленный отъезд в Париж — без сборов, внезапно, прямо из «Какаду».

Тогда княжна тайком от Ларсена написала письмо Зигрид и, сообщив ей о предложении сына и немного о самой себе, прямодушно запрашивала ее, даст ли она согласие на этот брак.

Зигрид, прочтя письмо, возмутилась и вспыхнула от негодования. Влюбиться в Петера могла только дура. Но судя по письму, эта русская девушка неглупа. Значит, она просто намерена женить его на себе. А может быть, это всего только шантаж? Желание получить отступное? Ну, если это так, то... погоди, моя милая!

Она немедленно пригласила ее к себе и в же время распорядилась собрать о ней справки. При конторе были такие люди, которым давались иногда секретные поручения разузнать подноготную того или иного клиента. Сама же Зигрид собрала в себе всю прямоту и неумолимость своего характера и заранее наметила тон, с которого начнет беседу.

Однако, их встреча мгновенно рассеяла все опасения Зигрид. Задушевность и простота, исходившие от девушки, сразу обезоруживали.

Разговор велся по-немецки. Зигрид изумленно вслушивалась в грудной переливчатый голос русской, звучащий, как речитатив. Слова ее, такие простые, такие непринужденные, излучали теплоту и сердечность; не прошло получаса, как Зигрид позабыла, для чего она вызвала девушку и увлеклась беседой.

До чего фантастична жизнь, думала Зигрид, с волнением вслушиваясь в историю необычных злоключений этой русской: Кавказ, Константинополь, Египет, Салоники, Румыния. Но больше всего поражало ее то смирение, с которым рассказывалась эта повесть об игре в жизнь и смерть. И опять-таки: пленял мелодичный голос. Он подсказывал — с таким голосом нельзя хитрить, лицемерить, притворяться.

— Вы, должно быть, поете?

— Немного, — сказала девушка.

— Это хорошо! — вырвалось у Зигрид. — Мы ведь, вся наша семья, такие немзыкальные, что прямо досадно. Вы нас...

Тут она запнулась и подумала: «Ну вот, даже я голову потеряла; чего же требовать от Петера?»

С мягкой, обещающей улыбкой Зигрид спросила ее на прощанье:

— Вы мне разрешите зайти к вам?

— Я буду очень рада, — смущенно ответила Тумасова.

— Но только у меня... Я живу крайне скромно... Вы...

Тонкие, бледные руки ее беспомощно скрестились на груди, точно ей хотелось скрыть не то свою наготу, не то убогую обстановку.

— О, пусть вас ничто не смущает. Это неважно.

И, указывая рукой на просторную гостиную, фру Ларсен искренне сказала ей:

— Вот большая и нарядная комната. Но здесь так неуютно и так одиноко, что я...

Последние слова потонули в ее вздохе.

И Зигрид пришла к ней после обеда, когда на землю спустился предвечерний зимний туман. И снова с живым внутренним трепетом она вслушивалась в взволнованный рассказ о мужественном самоотречении, о сдерживаемом отчаянии и о стойкой жажде не сдаваться до конца. Какой-то знакомый характер неясно выплыл вдруг перед Зигрид. Кто же это был, такой же несдающийся и в то же время исполненный самоотречения? Встретила она его в жизни или в книге?

Но Тумасова продолжала рассказывать. Зигрид некогда было хорошенько подумать и вспомнить, и только когда девушка конфузливо рассказала о спокойном эгоизме своего отца, это слово вызвало ушедшую тень Ивара Ларсена. Зигрид сразу сказала себе: сходство далекое, но все-таки оно имеется. И ей стало непостижимо приятно, точно она явилась к сестре.

Тогда она дружески улыбнулась, взяла Тумасову за руку и не забыла отметить про себя тщательную отделку ее розовых ногтей.

— Сыграйте, — оказала вдруг Зигрид, показывая на гитару.

И она заставила княжну сыграть на гитаре и спеть русскую песнь — не потому, что ей хотелось узнать, кто она такая и что она умеет. А потому, что фру Ларсен, владелица богатой торговой фирмы и одинокая вдова, ощутила в этой крохотной каморке тот уют, который некогда она находила в детской у своих мальчиков.

— Милая барышня! — сказала она, приблизившись к ее лицу. — Милая барышня! Если бы Петер не захотел жениться на вас, я бы сама стала уговаривать его это сделать.

Тумасова вскинула на нее глаза, радостно засветившиеся, и поднялась со стула.

— Я и сама хочу иметь такую невестку, — объяснила Зигрид и снова взяла ее за руку.

Но вдруг она засуетилась.

— Мне пора идти домой, — озабоченно заметила она, взглянув на часы. — Меня ждут дела. А вам я хочу дать дружеский совет.

И, загадочно улыбнувшись, сказала:

— Уступите Петеру и поезжайте с ним в Париж. И, конечно, о том, что мы с вами познакомились, ему не говорите. Пусть у него останутся иллюзии, будто он бежал с вами тайно. А затем — вам надо что-нибудь купить себе для дороги. Не спорьте, не спорьте. Я это лучше знаю. И еще я знаю, что деньги просить у мужа — этому надо сперва научиться. А Петеру и в голову не придет самому предложить вам... Не спорьте, не спорьте. Да и, кроме того, он достаточно скуповат, мой сынок. Да, да. Уж я знаю. Он очень скуповат.

Она быстро порылась в сумочке, но, очевидно, найдя там недостаточную сумму, огорченно сказала:

— Я вам сейчас же пришлю чек. С посылным. Завтра утром можете получить в банке. Но помните, только до двух выдают. Только до двух. И... вы разрешите вас поцеловать в ваши прелестные глаза? Счастливого пути, моя милая. А Петера держите в руках. И еще — если улучите ми-

нутку, когда его не будет при вас, напишите мне несколько строк.

Давно фру Ларсен не чувствовала себя так хорошо, как в эти два часа, проведенные в каморке. Она испытывала такую радость, точно у нее внезапно появилась умная, красивая и взрослая дочь.

## XXVIII

Петер собирался провести за границей полгода, но не выдержал и вернулся через <...>\* месяца: острое, докучающее желание показать жену в Копенгагене преодолело интерес к Парижу и Флоренции. Вот тогда-то и наступила эпоха тщеславных радостей, гнавших его на улицу, в театр, в людные места, чтобы следить за пристальным вниманием к себе и к своей смущенной спутнице. Но сколько ни лорнировали их дамы, сколько ни шушукались мужчины, ему всего этого было мало. Ненасытное тщеславие жаждало изъяснения каких-то феерических восторгов, оваций и преклонения — перед его смелостью пойти наперерез общественным предрассудкам. Однажды, в припадке такой жажды, он стал убеждал жену отправиться с ним в бар «Какаду». От негодования она вспыхнула мертвенно-холодной бледностью и впервые поняла неугомонную суетность его поступков, которые прежде казались ей неистовством любви. Она не пошла и с тех пор всячески уклонялась от совместного появления с ним на людях. Ей нетрудно было отыскать предлог: она готовилась быть матерью.

Петеру сразу стало скучно. Без жены его не лорнировали и не замечали. На него просто не смотрели. Он потосковал с неделю, показываясь в обществе с маской горького, но изящного страдания, как человек, случайно забредший в этот скучный мир, — и придумал новую мишень для удивлений: игру на саксофоне. По утрам приходил к нему

---

\* Очевидный пропуск слова в оригинальном изд. (*Прим. ред.*).



негр и тотчас же шесть комнат ларсеновской квартиры оглашались звуками, напоминавшими дуэт павлина и индюка. Схватив начатую работу — крохотные рубашонки, нательнички и фланелевые пеленки — молодая фру Ларсен тогда поспешно спускалась вниз, к свекрови и, обменявшись с ней молчаливым вздохом, усаживалась рядом с ней. Уж так сложилось, что при этом они разговаривали тихо, точно в комнате лежал тяжелобольной,

Эта уединенная тишина вызывала мелодичную задушевность и уют. И в сухой душе Зигрид Ларсен, с давних пор заросшей плесенью, незаметно вскрылись источники теплой материнской влаги, которой она готова была неустанно поить жену своего сына, ставшую для нее теперь родной дочерью.

Иногда в такие часы появлялся вдруг Свен. Злые, ревнивые глаза его, высекая искры, старались не смотреть на любимицу Зигрид. Он делал свой доклад, глухим голосом просил каких-нибудь распоряжений и уходил с понурой головой. Не чувствуя, однако, за собой никакого права ненавидеть эту тихую женщину, он стал ненавидеть Петера, который заставлял свою жену искать утешения у свекрови и лишает его, Свена, радости разговаривать с Зигрид наедине. Уж не посвятила ли она эту русскую в заповедную тайну?

Потом появился на свет новый Ларсен, голубоглазый толстячок, которого мать именovala по своему: Юра. У колыбели малыша, у его пухленьких ножек, обе женщины сблизились еще теснее.

Петер совсем заскучал. До этого четыре месяца он носился с мыслью организовать великосветский жац-банд, но желающих не оказалось. Саксофон был оставлен. Его заменил 70-сильный Майбах, большой автомобиль, излучавший черную жуть. Петер так вошел во вкус спортивного азарта, что целые дни, самостоятельно управляя машиной, как сумасшедший кружился по окрестностям Копенгагена. Кепка не сходила у него с головы. Трубка не вынималась изо рта. Перчатки снимались только за обедом. Краги — лишь перед сном. И носил он с собой неистребимые запа-

хи смазочного масла, бензина и еще острого ветра. Впрочем, ветер был у него и в голове. Жизнью его стали управлять какие-то рекорды, понятные только ему самому.

Между тем, дела транспортной фирмы шли своим чередом. Теперь уж, правда, не было тех барышей, которые приносила с собой война, но бухгалтерские итоги неизменно возвещали хорошую прибыль. Гаваньские склады были по-прежнему доверху завалены грузами, которые пахли мокрыми кожами, треской, аптекарским товаром, ворванью и свежим деревом. Тут же рядом, под открытым небом, точно холмы, возвышались кучи угля и пирамиды из бочек. В помещении конторы с утра до ночи толпились обветренные всеми ветрами моряки, распространяя сильный запах вонючих сигар и смолы. Они же заносили сюда морскую сырость. Подъемные краны, освещенные рефлекторами, грохотали круглые сутки. Пароходы уходили беспрерывно.

Итак, все обстояло отлично, и с делами, и с наследием первого Петера, и с семейной жизнью, устранявшей одиночество. Маленький Георг и его мать носили в себе идиллическое очарование. Ее певучий мягкий голос звучал, как далекая музыка. Его звонкий лепет, его любознательное беспокойство и его пестрые игрушки, разбросанные по всему дому, заполняли сердце Зигрид сытым умилением и давали полноту чувств.

Вот только Петер, второй Петер, больно уязвлял сознание. Да, тот несчастный калека был бы не такой.

Ей не пришлось бы стыдиться за него и с досадой отворачиваться, когда она слыш... Правда, Петер никому не мешает. В этом он был подлинный сын своего отца.

И еще одна вещь беспокоила Зигрид. Не всегда, но временами. При виде ухмыляющейся рожицы внука и целомудренных ресниц невестки, ее начинало колоть то острое жало, которое оставалось в ней от чувственной и достаточно грубоватой связи со Свеном. Много-много раз говорила она самой себе, что пора поставить точку. Пора, пора! Но минутные воды запоздавших желаний поднимались иногда выше ее головы, и неугомонное тело властно отодвигало намеченные сроки. Вдобавок (конечно, это была только

лазейка) Зигрид упорно уверяла себя, что преданного ей Свена, охраняющего великое наследие, нельзя не отблагодарить так, как он этого хочет. Немалую, впрочем, роль сыграл в этом и сам Свен: он был настойчив, приятно тактичен, а главное, осторожен. За семнадцать лет их физической близости никто — даже прислуга — не видел, как он своими ключами открывает по ночам двери и пробирается к ней в спальню. Кое-кто из окружающих, может быть, и подумывал об их отношениях, но доказательств никто бы не мог представить. Зигрид это тоже ценила.

Так, в чередовании спокойных радостей, молчаливого умиления, несложных забот и медлительных огорчений — проходила жизнь. Хорошего было больше, чем плохого. И, вспоминая первые годы своего замужества и жалкое бытие несчастной матери и тусклое промежуточное существование отца, кругозор которого был всегда заслонен одним только предметом, Зигрид начинала думать, что судьба обошлась с ней значительно милостивее, чем с предыдущими Ларсенами. Служение одной идее потребовало от каждого из них серьезной жертвы. Она же принесла одну только жертву — нелепое замужество, — но затем удачно выплыла на просторный путь полной независимости.

К этим мыслям она блаженно возвращалась не раз, все более и более утверждаясь в них. Но случилось нечто такое, что заставило ее крепко задуматься над тем, так ли это на самом деле.

## XXIX

Увлечение Петера автомобильным спортом довело его до одержимости. Он участвовал в гонках, в далеких пробегах, ездил на автомобильные выставки и даже пытался изобрести какой-то особенный автоматический тормоз, не позволяющий автомобилю опрокидываться. Само собой разумеется, мысль об изобретении была ему внушена желанием славы. Но, пожалуй, не всецело. Было, должно быть,

у него и предчувствие, что такой тормоз может ему пригодиться.

Однажды он взял с собой покататься жену и Георга и, выехав за окраину, по обыкновению, понесся, как безумный. Неизвестно, что произошло, лопнула ли шина, наткнулся ли авто на придорожный камень, но в одно мгновение все четверо — машина и трое людей — свалились под откос шоссе. Георг (ему шел тогда шестой год) вылетел из автомобиля, как мячик, и даже не поцарапал себе голых колен. Петер сильно ушиб голову. Но зато молодая фру Ларсен осталась лежать на месте совершенно раздавленная.

Ее растерзанное тело потеряло все человеческие очертания, и когда подняли авто, маленький Георг, окинув тупым взглядом бесформенную массу из грязи, крови и тряпок, оглянувшись, посмотрел на кожаные подушки и недоумевающе опросил:

— А где же моя мама?

Погас свет для Зигрид. На две недели в доме воцарилась жуткая, мрачная тишина, которую никто не смел нарушить. Перестали поднимать шторы. Разъединили телефон. Письма, получавшиеся в большом количестве каждый день, — сочувственные письма, — оставались нераспечатанными. Зигрид целые дни просиживала в кресле или лежала на кровати в полном оцепенении. По утрам приводили к ней Георга, испуганного и заплаканного, она беззвучно гладила его по волосам и делала знак глазами, чтобы его увели.

Всем казалось, что Зигрид потеряла дар слова и что у нее помутился разум. В конце концов, говорили все, внук должен быть для нее дороже, чем невестка, а между тем, она почти что равнодушна к нему. Но тут же вспоминали, что с тех пор, как в доме появилась эта русская, Зигрид совершенно изменилась, стала мягче, женственней и гораздо разговорчивей.

Домашний врач, всего два раза навестивший Зигрид, распорядился предоставить ее самой себе и никого к ней не допускать. И когда в доме начали поговаривать о том, что следовало бы не послушаться упрямого врача и приг-

ласить психиатра, Зигрид вдруг пришла в себя, встала и первым делом велела привести Георга.

Только тогда она впервые дала волю своим слезам и с безудержной страстностью, которую никто никогда в ней не замечал, стала целовать его лоб и руки. Посадила его к себе на колени и, прижимая его тельце к своей груди, шептала в слезах:

— Какое счастье, что ты у меня остался! Какое счастье!

Крупные слезы, как зерна, выкатываясь из ее потускневших глаз, падали на голые колени ребенка. Он пристально разглядывал эти капли, трогал их своими пальчиками и под конец тоже заплакал.

В этот день к Зигрид вернулось спокойствие и больше не покидало ее. Она несколько часов провела в конторе, совещалась с управляющим и, вернувшись домой, распорядилась, чтобы детскую Георга устроили рядом с ее спальней. Тут же поселилась и бонна. Петер, все время не показывавшийся ей на глаза, не смел возражать.

Не показывался и Свен Гольм. Он опасался, что не найдет нужных слов, чтобы по-настоящему утешить ее. К тому же он сам был в отчаянии — за нее и за себя. Несчастье, обрушившееся на Зигрид, заставит ее (он это ясно предвидел) окончательно отказаться от близости с ним. Вот теперь она действительно станет бабушкой, и осиротевший внук вытеснит Свена навсегда.

Чтобы избежать горечи неминуемого разговора на эту тему, Свен придумал: уехать во Флориду. Он так и сделал. Написал фру Ларсен почтительное письмо, насколько сумел, выразил ей свое соболезнование и отправился, как он сообщал ей, исполнить свой долг. Была у него одна тайная мысль, но пока что он даже не формулировал ее.

Вернулся он через четыре месяца. Фру Ларсен за это время окрепла и даже несколько пополнила. Седина, правда, усилилась, но фигура и движение возвращали ее к прежним годам. И, глядя на нее, Свен вспомнил старое прозвище Зигрид: Валькирия. В то же время и он привез хорошие новости. Измерения показали неудержимый рост подводной тверди, стремительно обраставшей пловучим бал-

ластом. Цифры, которые удалось установить в последний раз, превосходили все предыдущие расчеты. С такими данными он бодрым явился к Зигрид.

Она встретила его дружески, горячо пожимала ему руку, но в голосе ее звучал деловой холодок. Свен почувствовал это и продолжал обращаться к ней с почтительностью маленького служащего.

Когда все деловое было сказано, Зигрид вздохнула и заметила:

— Как все это было хорошо, если бы осталась жива моя бедная дочь. Я так одинока без нее. Я впервые узнала, что такое скука.

Свен слегка прикусил губу, опустил глаза и заклинаящим голосом сказал ей:

— Дорогая фру Ларсен. Я осмеливаюсь напомнить вам, что Бы забыто об одном своем преданном друге. Вы забыли о нем. Впрочем, вы давно о нем забыли.

Этим он напомнил ей, что уже больше года они не встречались интимно.

Зигрид с трудом дослушала его до конца.

— Оставим это, Свен, — заметила она, отворачивая в сторону нахмуренное лицо. — Оставим. Всему бывает конец. Я уже стара. Нельзя быть смешной даже в собственных глазах. Мне уже 52 года.

— Для меня вы та же, что были раньше, — с глубокой дрожью в голосе подхватил Свен и поднялся со стула, потому что внутренний огонь потребовал от него широких, свободных жестов. — Такая же, какой я помню вас на яхте. И с меня этого достаточно.

— Это галлюцинации, — небрежно обронила Зигрид и резко выдвинула ящик письменного стола, точно желая там что-то отыскать. — Галлюцинации. И с ними нельзя считаться. Вот смотрите: складки у рта. Они выдают мои годы.

— Я их не вижу, — отмахнулся Свен. — И не хочу их видеть. Не думайте о них и вы, фру Ларсен. Главное это то, что вы чувствуете.

Зигрид недоверчиво усмехнулась.

Тогда, вынув из кармана два ключа, — те самые, которыми он много лет подряд отпирал ее двери — он с долгим вздохом взвесил их на ладони и с грустью сказал:

— Вы видите: я всегда ношу их с собой.

— Да, ключи те же, — ответила Зигрид. — Но карманы уже другие. Оставим это Свен, оставим! С этим надо покончить навсегда. Теперь меня занимают совершенно другие мысли: внук и сын.

— Сын? А что же с г. Ларсеном?

Зигрид, точно обрадовавшись, что ей удалось изменить разговор, стала торопливо рассказывать, понизив голос.

— Вот лучше посоветуйте, Свен, что надо сделать. Меня сильно беспокоит Петер. Очень беспокоит. За последнее время к нему что-то зачастил один журналист. Неприятная такая личность. Мне это показалось подозрительным. Уж я знаю своего сына. И поэтому я заглянула к нему в кабинет в его отсутствие. Это было четыре дня назад. В письменном столе... Ну, словом, так или иначе, я узнала, в чем дело. Матери это можно. К тому же речь шла о... Словом, оказывается, он записывает всю историю. Начал он, понятно, с моего деда. Должно быть, будет писать и о моем отце. Меня он, вероятно, тоже не пропустит. И там все подробности, в том числе и ненужные. Надо думать, его гложет желание прославиться. Он ведь всегда этого домогался. И скорее всего, он предполагает это напечатать в газетах. В первое мгновение мне захотелось тут же разорвать эту рукопись. Но я его знаю: это только подзадорит его. Да и лучше, пожалуй, сделать это потом, когда он напишет побольше. Тогда ему будет лень начинать сначала. Не правда ли? А может быть я ошибаюсь: потом будет поздно. Как вы думаете, Свен? Что надо сделать?

Свен покачал головой и задумался. Глаза его то поднимались, то опускались. Было видно, что в нем наливается и зреет какое-то решение. После этого он выпрямился и, сжигаемый трепетом, твердо сказал:

— Я сделаю все, что вы прикажете мне. Все, что вы захотите, фру Ларсен. Если надо, я выкраду эти бумаги. Если надо... Все, что вы скажете.

И голосом упавшим, задышающимся, добавил:

— Я только попрошу у вас, фру Ларсен, оставьте мне на память одну вещь.

Зигрид изумленно улыбнулась.

— Вещь? Какую же это вещь?

— Еще одну поездку на яхте. Прощальную поездку, фру. Мы начали с поездки. Этим и закончим.

Наступило тягостное молчание. По лицу Зигрид ничего нельзя было прочесть. Лишь под конец она пожала плечами.

— А потом? — спросила она и, опустив голову, насторожилась.

— А потом я уеду, — четко сказал Свен. — Так будет удобно для нас обоих. Не правда ли? У вас останется внук. У меня детище вашего деда. И еще: незабываемые воспоминания.

Зигрид встала, медленно подошла к окну и долго поправляла шторы, передвигая их взад, то вперед. Затем, не поворачивая головы, она негромко произнесла:

— Ах, если бы вы заодно прихватили с собой и Петера. Мне он стал глубоко противен. Видеть я его не могу! И всегда жду от него больших неприятностей. Боюсь также, что он испортит Георга. Не повезло мне с таким сыном, не повезло! И совестно сказать, но перед вами я признаюсь: мне в тысячу раз было бы легче, если бы во время катастрофы погибла не она, а...

Свен еще раз на своей широкой ладони взвесил ключи.

### XXX

Когда яхту ввели в док для переделки и починки, Овэн Гольм тоже почувствовал себя введенным в док: он обновлялся, молодец и воспрянул, как парус, надутый ветром. Безотлучно находясь при яхте, он обдумал все детали переустройства, но не ясно ли, что его прежде всего занимало



все то, что приводило к наибольшему удобству для них обоих — для него и Зигрид.

Вызвав из своей памяти прошлое, он думал:

«В тот раз, когда она впервые снизошла ко мне, она сама явилась в мою каюту; теперь она позовет меня к себе».

И он сделал ей большую, просторную каюту с зазывающим широким ложем, отгороженную с одной стороны ванной, с другой платяным шкафом. Бонну с ребенком он поместил подальше. Себя поближе. Зато для топотливых ножек Георга он велел устроить особую винтовую лестницу, чтобы малыш, бегая взад и вперед, вверх и вниз, не тревожил бабушку, когда она отдыхает. Все предусмотрел Овэн.

За два дня до того, как яхта должна была выйти в море, Зигрид внезапно вызвала его к себе. Он явился немедленно. У нее был такой вид, точно она собиралась в гости, и стояла она перед ним помолодевшая, пахучая и хрустящая. Справившись, все ли в порядке, она озабоченно сказала:

— В другое время эта прогулка доставила бы мне большое удовольствие. Погода отличная. Настроение тоже. Но сейчас...

Свен тревожно и горестно посмотрел на нее.

— Что же случилось? — с деланной холодностью спросил Свен и сжал пальцы.

— Случилось то, что я предполагала. Он закончил свою дурацкую статью. Сегодня утром, когда он уехал, я убедилась в этом. Все готово. Для меня ясно, что он собирается напечатать ее.

Свен раскрыл свои ясные глаза и, не спуская их с Зигрид, чуть заметно улыбнулся.

— Я ведь обещал вам... Зачем же отказываться от поездки?

— Но я же говорю: у него все готово, я и одной минуты не буду спокойна. И вам от этого...

Он подумал немного и сказал:

— Можно получить ключ от его квартиры?

Волнуясь, она вынула из сумочки ключ и, опустив глаза, торопливо передала его Свену. На лице ее выступили

красные пятна. Он повертел ключ в руках, усмехнулся и тихо обронил:

— Я хочу, чтобы вы были совершенно спокойны. Наша последняя прогулка не должна...

— Что вы намерены сделать, Свен? — глухо спросила она.

— После обеда ваш сын, по обыкновению, уедет кататься. Как только он уедет, вызовите к себе его кухарку и лакея. Я буду поблизости. И позвоню вам по телефону.

В четыре часа Свен незаметно пробрался в кабинет Петера, взломал письменный стол и достал рукопись. После этого он грубо перерыл все вещи в кабинете, уложил в два узла платье, столовое серебро и несколько картин. Узлы он оставил у двери. Когда все это было обнаружено, ни у кого не оставалось сомнения в том, что в квартиру забрались воры, но им кто-то помешал. Полицейские собаки привели сыщиков в гавань и, потеряв след у самой воды, залаяли на море.

Это было во вторник. В четверг, в полдень, яхта плавно вышла из рейда, разворачивая своей птичьей грудью расплавленную медь: такой казалась залитая солнцем вода.

Дул легкий ветер. У штурвала стоял сам Свен. Когда показалось открытое море, ветер усилился и, застревая в снастях, заиграл на них, как на струнах. Это была та самая музыка, которая неизменно стояла у него в ушах, когда он думал о плавании. Но теперь она звучала для него иначе, — острее, волнующей и трепетней, — отдавая сладостной болью последнего свидания.

Чтобы не заронить ни тени подозрения у матросов и у бонны, сопровождавшей маленького Георга, он долго не спускался с мостика и не заговаривал с Зигрид: пусть ни на одно мгновение он не покажется ей в тягость.

Потекли простые идиллические дни, исполненные радостного томления, неторопливой суеты и ленивого солнечного благодушия. Маленький Георг потребовал, чтобы его считали помощником капитана и чтобы матросы отдавали ему честь. Он нацепил на себя кортик и, придерживая его пухлой ручонкой, важно шагал по палубе и выкрикивал

слова команды. Зигрид, прикрытая пледом, сидела в глубоком плетеном кресле у самого бугшприта, блаженно впивая в себя живительный отдых.

Почтительно подходил к ней Свен и, усаживаясь на канатный бунт, вступал с ней в разговор, всегда поворачивая его в сторону воспоминаний. И так уж получалось у него, что все воспоминания незаметно поднимали из памяти те интимные эпизоды, которые проходят незамеченными в браке и четко запечатлеваются ив тайной любви. Отдавшись во власть этих щемящих чувственных воспоминаний, подогретых солнцем и свободой, оба они обменивались молчаливым соглашением терпеливо дожидаться ночи.

Когда же на яхте все затихало, он, крадучись, приходил в каюту к Зигрид и останавливался у двери, не осмеливаясь приблизиться, пока не услышит ее поощрительного шепота. Ни разу, ни одного разу она не позвала его к себе тотчас же. Она словно колебалась — звать или не звать. По крайней мере, так думал Свен, и это промедление заливало его томительной тревогой, от которой рождался целый поток слов, заключавших в себе то молитву, то угрозу, то нежный упрек. Тогда только звучал уступающий призыв. Свен протягивал вперед руки и ощупью приближался к ней, осторожно и мягко, точно мог наткнуться на хрупкую фарфоровую вазу.

Зигрид упорно принимала его в темноте; она не хотела показывать ему свое стареющее тело. Дрожа и пламенея, как юноша, он настаивал на разрешении зажечь свет.

- Не надо, Свен. Не надо быть смешной.
- Но ведь это же в последний раз. Для воспоминаний.
- Тем более.
- В эти минуты, Зигрид, забудьте о своих метриках.
- Не могу забыть, Свен. Нельзя забыть.

Но все же она забывалась. Как шквал, налетала на нее страсть и заревом своим отгоняла дозоры холодного разума. Сквозь меркнувшее сознание представлялась ей морская буря: скрипят мачты, мечутся вихри, вздуваются горы и всей тяжестью наваливаются на качающийся корабль.

Но вот шквал проходил. Горестным шепотом, стыдливо-застенчивым и отрывистым, она, не спрашивая, спрашивала:

— Ведь это все не то, что прежде. Нет, нет, надо сдаваться. Пора.

И Свен, отдыхающий победитель, крепко сжимал ей плечо и тоном заклинанья шептал ей в горячее ухо:

— Все как прежде! Как прежде. Ваши желания так же молоды, как были. Все по-прежнему. Или, может быть, вы говорите обо мне?

Зигрид блаженно закрывала глаза и думала: «Он меня хочет утешит, или же действительно...?»

И еще думала она:

«Ах, если бы освободиться навсегда от невыносимых томлений тела, которое безрассудно переступило сроки! Удастся ли мне преодолеть его? А может быть, и не надо преодолевать?»

Звонкие солнечные радости совместной прогулки не заглушили, однако, горечи сожаленья об уходящих днях, которые приближали Сдана к пустоте, к непоправимому одиночеству. Плыли мимо хмурых, задумчивых островов, пестрых рыбацких деревушек, мимо вспыхивающих маячных огней. В жаркое безветрие скользили по фиордам. Любовались рдеющими закатами по вечерам. Но остро терзала досаждающая мысль — о необходимости возвращаться обратно. И однажды это случилось. Вдоль бортов загремели вялые штуртросы, испуганно закружились чайки, и яхта описала полный круг. Маленький Георг ликовал. Но большой Свен Гольм, сжав губы, был мрачен и уныл: подъем кончился, начинается спуск в безнадежность.

И снова в голубых просторах рдели пламенеющие закаты, снова зажигались маяки, снова прокрадывался к Зигриду ненасытный Свен, но это уже были прощальные огни, прощальные встречи, и через каждую радость проступало колющее жало предстоящей разлуки.

В серый дождливый день обнажился копенгагенский рейд. Опять у штурвала стоял сам Свен, но на этот раз возле него находилась Зигрид и ее внук. Застывшими прищу-

ренными глазами обводила она знакомые места, — заливы, бухты, островки — откуда память коварно приносила ей незримые, выцветшие тени прошлого. Те же тени реяли и перед Свеном. В одном месте он напомнил ей, как однажды в сильный ветер она тут шалила с кливером и как он напугал ее: можно опрокинуться!

Зигрид оглянула его могучую фигуру, его большие, крепкие руки и подумала о том же, о чем думала тогда, много лет назад: «С тобой, мой верный друг, мне ничто не страшно».

Но уже близок был порт. По ржавой маслянистой воде шныряли лодки; со всех сторон дребезжали подъемные краны, визжали сирены. Свен Гольм с нежной печалью посмотрел на седые завитки волос, шевелившиеся у румяного лица Зигрид, вздохнул и, засунув руку в карман, извлек оттуда два потемневших ключа.

Дрогнувшим, умоляющим голосом, вызывавшим к ее ну-тру, он спросил ее:

— Что вы скажете об этих ключах?

Зигрид ответила:

— Похороните их в жоре.

— Вы сами сделайте это, — тихо сказал Свен. — Я не могу.

Маленький Георг изумленно раскрыл голубые глазенки, посмотрел на обоих и радостно воскликнул:

— Дайте мне, я брошу их в море!

Зигрид торопливо взяла у Свена ключи, передала их Георгу и, кивнув головой, негромко заметила:

— Это верно. Так будет лучше.

Свен Гольм надвинул на глаза фуражку и отвернулся, жадно насторожив уши, чтобы услышать всплеск. Но он ничего не услышал. Зато из-под козырька он увидел, как Зигрид нежно прижимала к себе малыша и гладила ему плечики. Свену почудилось, что рука Зигрид коснулась и его руки.

---

Распоряжение об отъезде Свена что-то задержалось, и он уже начинал подумывать о том, не решила ли Зигрид оставить его в Копенгагене. Разве это невозможно? Врезались в памяти сладостные воспоминания — блаженные дни, тревожно-счастливые ночи — и поступилась женщина (ведь женщина же она!) прежним решением положить предел беспокойству незасыпающих чувств. Не так ли?

Эту мысль он многократно обдумывал со всех сторон (точно кость обгладывал) и показалась она ему убедительной и верной. И когда через шесть дней Свена вызвали к Зигрид, то, идя к ней, он ощутил, как дрогнуло сердце надеждой — остаюсь!

Встретила его Зигрид с приветливой застенчивостью, благодарила за прогулку, но вдруг озабоченно нахмурилась и сказала:

— Вот с Петером опять... Это мое несчастье! Вчера, заговорив о ворах, которые его ограбили (удивительно, как он любит преувеличивать все, относящейся к нему), он рассказал, что заново восстанавливает похищенную у него рукопись. Он, понятно, не оказал, что это за рукопись. А то я постаралась бы убедить его не писать. Надо что-нибудь сделать, Свен. Надо. Этот человек целиком во власти своего тщеславия: ему больше всего в жизни хочется, чтобы о нем говорили.

Она отвела в сторону потемневшее лицо и, скрывая свое презрение, однозвучно рассказала:

— Сегодня утром я поднялась к нему. Думала как-нибудь возобновить разговор о его статье. Но больше двух минут я не могла у него остаться: он мне был противен. (Зигрид вздохнула.) У него новая мания: ловить моль! И мало того, что он сам ее ловит, он еще учит своего дога охотиться за молью! Вы представляете себе, что там творится, когда собака начинает прыгать по столам? Этакое сумасшествие! И когда я думаю о том, что это не может остаться без влияния на маленького Георга, я холодею от ужаса. На-

конец, я недолговечна. Мальчик попадет в руки чудовища. Это ужасно!

Она схватила Свена за руку и шопотом воскликнула:

— Свен, вы должны мне помочь. Вы должны. Если вы любите меня, вы должны.

Две мысли — крест-накрест! — вспыхнули перед ним, ошеломили и взбудоражили его душу: ничего не говорит об оставлении в Копенгагене, но если помогать, то ведь издали нельзя.

У Свена пробежала на губах улыбка, детская, розовая улыбка. Он развел руками.

— Я всегда готов служить вам, фру Ларсен, но сейчас мне не приходит в голову ни один способ обезвредить... помочь вам. Второй раз проделать похищение — это... это...

— Нет, нет, надо придумать что-нибудь другое, радикальное. Продумайте, Свен. Вы должны придумать для меня это. И, пожалуй, для нашего дела — тоже. Может быть, вы его убедите съездить туда, на Ньюфаундленд? Впрочем, это еще хуже. Это только усилит его тщеславное желание рассказать всему свету о своих подвигах на дне океана. Как тогда: «в гостях у Посейдона». Нет, это не годится. Надо придумать другое. Это необходимо сделать скорее, немедленно. Я хочу быть спокойной.

Свен задумался и посмотрел в окно. Внизу, у входа, стоял автомобиль с зажженными огнями: по вечерам Петер обычно совершал прогулку к Хельзингеру — сломя голову, без шофера.

Зигрид насторожилась, застыв в ожидании.

Свен долго растирал руки, как будто пришел с мороза, хмурился и вздыхал.

— Я постараюсь, — пробормотал он виновато. — Но сейчас я ничего не могу. Я даже не знаю, в какую сторону направить свои мысли.

— Свен! — перебила она его холодно и зло. — Если бы я об этом просила вас до поездки на яхте, я думаю, вы бы иначе отнеслись к моей просьбе...

И резко замолкла. По сухим сжатым губам ее пробежало какое-то произнесенное слово.

Свен был задет, точно его обвинили в трусости. Непроизнесенное слово усилило его досаду. Что она хотела сказать?

— Фру Ларсен, — сказал он с болью, — вы хотите, чтобы я превзошел самого себя.

— Да, — бросила Зигрид, и голос ее зазвучал сурово. — Бывают случаи, когда это необходимо сделать. Дружба иногда требует больших жертв. Только тогда она и познается. Иначе это сладкая водица. Неужели же я всю жизнь в вас ошибалась, Свен?

— Речь идет о вашем сыне, фру Ларсен, а не обо мне.

— Речь идет о вас. Вспомните, как вы обещали моему отцу — всегда быть в моем распоряжении.

Он уходил от нее подавленный, с перекошенным от досады лицом, ощущая внутри себя колючую занозу. Сюда он шел радостный, легкий, чуть ли не воздушный; теперь на нем была тягостная поклажа, которую бессердечно взвалила на него Зигрид.

«После того, как человек бросился в воду, чтобы спасти утопающего, — рассуждал он с самим собой, — его обыкновенно хвалят, благодарят и подчас награждают его за это медалью. Но требовать, чтобы он бросился в воду, нельзя. Потому что нельзя требовать от человека подвига. Нельзя!»

В подъезде Свен остановился, прислушиваясь к своим мыслям, которые бурлили в нем, как кипящая вода. Было не холодно, но он почувствовал озноб — от огорчения, что не может постичь загадочных слов Зигрид. Чего она, в сущности, от него хотела?

«Не иначе, как она хочет меня испытать, — возмущенно подумал он. — Зигрид хочет испытать мою преданность. Она ждет подвига. А это она делает для того, чтобы...»

И он сам изумился, радостно изумился подвернувшемуся выводу, такому ясному и простому: «...это она делает только для того, чтобы про себя решить, оставить меня или отослать в Америку».

На мгновение, очень короткое, он почувствовал гордую решимость отказаться от испытания («Если так, то я отхо-



жу сам»). Но радость разгадки уже успела размягчить гордыню, расправила злые морщины, — и вновь рабская, нерассуждающая преданность вернула к нему смиренное желание подчиниться Зигрид целиком. Сейчас он был готов на все.

Перед ним стоял автомобиль — Роллс-Ройс, чудесная машина с живым выражением нетерпеливой жадности. Через минуту или две должен был показаться Петер. Свен отчетливо вспомнил о катастрофе, которая причинила столько страданий Зигрид и, следовательно, ему тоже: этот шалый бездельник ускорил ее старость. Ну, если не старость, то сознание старости. Это еще хуже. И еще он вспомнил, как Зигрид искренно призналась ему, что ей было бы неизмеримо легче, если бы...

Свен оглянулся, сделал три неестественно больших шага и, обойдя машину, нагнулся к переднему колесу.

В это время Зигрид показалась на балконе. Чересчур резкий разговор со Свеном вызвал в ней раскаяние. Она решила вернуть его наверх. Перегнувшись через перила, она увидела в предвечернем сумраке, как Свен, присев на корточки, что-то делает у колеса.

Всмотревшись, Зигрид вздрогнула, отшатнулась и, точно отталкивая от себя страшное видение, отступила назад в комнату.

Так стояла она минуту, может быть, две в полной оцепенелости. Когда послышалось, как по лестнице быстро, вприпрыжку, спускается Петер, она от ужаса закрыла рукой рот — и хотела двинуться к выходу, чтобы задержать Петера и уговорить его остаться на сегодня дома. И как во сне, ей совершенно ясно показалось, что так она и сделала и что она даже разговаривала с Петером, убедив его отказать от поездки.

Это продолжалось не больше полуминуты. Зашумевшая машина вернула ей сознание. Тогда вспыхнул ужас непоправимого, разверзлось отчаяние, зазвенел в ушах ее собственный непрозвучавший крик. Она бросилась на балкон.

На улице никого не было. Плавнo колыхаясь, быстро удалялся задний огонек автомобиля. Зигрид с пристальной тревогой посмотрела ему вследа и, наполовину успокоившись, облегченно вздохнула. Но волнение еще не улеглось: дрожали губы. Чтобы подавить в себе оставшуюся тревогу, Зигрид отправилась в детскую, где долго шалила с Георгом, преобразив его в индейца. Через час, когда она вместе с бонной укладывала его спать, резко прозвучал телефон.

Из полиции сообщали, что близ Шарлоттенлунда опрокинулся автомобиль Петера Ларсена и что сам Ларсен тяжело ранен.

Неделю спустя Свен Гольм получил от Зигрид письмо с траурной каймой. В этом письме Зигрид деловито просила его не откладывать дальше поездку на Флоридский полуостров.

## **Часть вторая**

По субботам у Георга Ларсена обычно собирались гости. Его холостая общительность и гостеприимство привлекали людей не меньше, чем его положение владельца богатой торговой фирмы. Он подобрал содержательную группу людей, связанную интересом к жизни, к занимательной беседе без определенного направления, в меру приправленной вкусом, фантазией и остротой. Большинство из них были в том возрасте, когда легче всего заключается дружба, — между двадцатью пятью и тридцатью пятью годами. Но были среди них — двое или трое — более солидных лет, тяготевшие к молодежи из недовольства скучной современностью. Они полагали, что новое поколение внесет в жизнь занимательную перемену.

Самому хозяину было всего 26 лет. Получив в наследство крупное дело, он ревностно взялся за работу, хотя, в сущности, от него требовалось немного. Дело было налаженное, точное, верное, как хороший хронометр. Кроме того, старуха Ларсен предусмотрительно окружила внука дельными и честными людьми, которые умели мягко проводить нужные решения, не задевая самолюбия молодого хозяина и высказывая ему все знаки почтения и полной подчиненности. Короче говоря, он царствовал, но не управлял, совершенно не замечая этого. Вдобавок, у него не было решительно никаких оснований задумываться над своим положением. Равномерное движение всего механизма торговой конторы не давало никаких перебоев. Безостановочно трещали ремингтоны. Бури и морские катастрофы счастливо обходили суда, доверху нагруженные пряностями. Молчаливые счетоводы в прохладных комнатах, нахмутив брови, добросовестно итожили цифры, неизменно свидетельствовавшие о крупных барышах. Все это давало молодому Ларсену право на безмятежность и еще на проявление некоторых слабостей, утверждавших за ним — в глазах знакомых, друзей и служащих — своеобразие его личности. Так, избыток каких-то утонченных чувств побуждал его, на-

пример, небрежно одеваться, носить башмаки на двойных подошвах из буйволово́й кожи и умышленно бриться только через день.

Материальное благополучие позволяло Георгу время от времени вспоминать о таблице предков, на которой в холодном пафосе запечатлелся неписанный завет прапрадеда — уподобиться неутомимым кораллам, живущим для далеких, будущих поколений. Однако этот космический идеализм казался ему чересчур провинциальным, и Георг относился к нему не без иронии. Фанатичный энтузиазм бабушки по настоящему успел захватить его только в юные годы, когда ребяческая романтика властно звала к необыкновенному. Надо на чем-нибудь остановиться — на том ли, чтобы тайно бежать в Южную Америку, на том ли, чтобы устроить экспедицию против африканских львов и заодно найти древнюю Атлантиду или, наконец, отвести в сторону течение Гольфстрема. Юный мечтатель после недолгого раздумья остановился на Гольфстреме, тем более что это предприятие издавна окружалось сладкой тайной, в которую были посвящены всего три человека: бабушка, капитан Свен Голым и он, Георг. Участие капитана, старого морехода, придавало всему делу реальную вероятность. А обилие географических карт, чертежей и таблиц, заполнявших шкафы, полки и стены детской комнаты, осязательно приближало заповедные сроки.

Но сновидения юных лет быстро прошли. Чертежи и карты были спрятаны в особый шкаф, большой и мрачный, который никогда не открывался, хотя и продолжал вызывать к себе трепетное уважение, как фамильная традиция, приятно украшавшая жизнь. Эта двойственность — уважение и равнодушие — впоследствии закрепились окончательно. Так мы относимся к дорогам покойникам.

Да, да, затея идеалиста-прапрадеда очень легко разбивалась об иронию трезвости, для которой было ясно, что человеческие возможности ограничены. Однако, коралловый остров, упорно поднимавшийся со дна океана, был ощутительной реальностью, которую никак нельзя было отрицать.

Георг Ларсен довольно ловко уклонился от проявления какого бы то ни было взгляда на все это дело, спокойно выжидая дальнейшего и испытывая лишь почтительность потомка к тому, что некогда задумал предок. Если бы понадобилось сделать что-нибудь серьезное для осуществления этого величественного замысла, он добросовестно сделал бы все нужное из чувства долга, но душа его ни на один миг не зажглась бы пламенеющим огнем наследственного энтузиазма.

## II

По субботам у Георга Ларсена собирались гости. Среди них заметно выделялись трое: отставной офицер Магнусен, негр Гаррис и еще Шварцман, Натан Шварцман, которому дали прозвище «еврейский Вольтер».

Магнусену было за пятьдесят. Он считал себя эпигоном девятнадцатого века, неудачно забредшим в век двадцатый. Отсюда проистекало его вечное недовольство, брюзжание, желчность и тусклый блеск его злых прищуренных глаз, излучавших досаду. Но зато у него были приятные манеры, остроумие и умение придавать своим словам эпиграмматическую форму. Занятым казался и его вдумчивый снобизм, проявлявшийся в остром интересе к расовым свойствам.

Магнусен был сторонник той теории, которая утверждала, что европейская культура родилась и процветала на побережье Средиземного моря и что тут же ей суждено умереть. Все пришлое, все чужое, хотя бы гениальное и прекрасное, не могло, по его мнению, влиться в эту культуру без того, чтобы не разрушить ее: вселенский Рим никогда не поклонится чужестранным кумирам и не допустит их в свой светлый Пантеон.

Это была излюбленная тема его монологов, внезапно раздававшихся среди шумного спора. Достаточно было сказать «японская гравюра» или «негритянский орнамент», чтобы привести его в словесное неистовство, от которого звуч-

но расстегивалась запонка его высокого стоячего воротника. И тогда он хватался за жилетный карман, сухими бледными пальцами извлекал из него кожаный карне и язвительно вычитывал оттуда:

— В муниципальном управлении чисто русского города Владимира заседают трое китайцев. Начальник московской милиции — бурят. В Воронеже прокурором состоит калмык. В Потсдаме, у Берлина, где некогда жил Фридрих Великий, один из судей носит самую распространенную русскую фамилию — Иванов. В прошлом году шесть негров окончили Сен-Сирскую школу, а в колониальных войсках Франции имеется даже генерал-сенегалец. Не находите ли вы, что это очень знаменательно? Нужно быть слепым, чтобы не заметить нового переселения народов, которое, конечно, испепелит Леонардо да Винчи, Палладио, Бетховена и Шекспира. Только потому, что мы не видим движущейся орды с женами, собаками и котлами, мы не опасаемся новейших готов, аваров, герулов и сармат, забывая о том, что такую нежную вещь, как культура, можно уничтожить и изнутри. Некогда и Рим ничего не замечал. Долгое время он забавлялся варварами, как интересной игрушкой, предназначенной для войн, триумфальных шествий и гладиаторских боев. А когда заметил, было уже поздно. Мы тоже забавляемся кое-кем и тоже ничего не замечаем.

Магнусена слушали и улыбались: всегда об одном и том же! Не улыбался только негр Джемс Гаррис, профессор университета, занимавший кафедру южноафриканских наречий. Когда Магнусен говорил, негр опускал глаза, лоб его покрывался капельками пота, а манишка выгибалась из жилетного выреза, как белый горб. Для него было совершенно ясно, что Магнусен не назвал его имени в числе новых завоевателей Европы только из вежливости, но что в записной книжечке он значится наряду с другими.

И только один раз, не вытерпев нападок Магнусена, он сказал ему, растерянно оправляя манишку:

— Меня, конечно, никто не уполномочивает на это, но я позволю себе успокоить нашего общего друга: ни Леонардо да Винчи, ни Шекспиру ничто не угрожает. Мои со-

племенники вряд ли собираются в Европу — здесь слишком холодно для них. А если они облачатся в пиджаки, брюки и шерстяные свитера, то к этому времени они начнут ценить и Леонардо да Винчи.

Тогда наступил черед заговорить Натану Шварцману.

Обычно он сидел в стороне, молчаливый, как бедный родственник, временами только бросая высокомерные взгляды на говоривших. А вообще, он предпочитал погрузиться в одну из тех брошюр, которые вечно торчали у него в карманах. Из-за невероятной близорукости Шварцман подносил брошюру к самому носу и закрывал ею свое лицо, обросшее черными жесткими волосами, которые, как у скай-терьера, доходили у него до глаз. Черная щетина забиралась даже в уши и нос. Отрывался он от чтения только для того, чтобы брызнуть колючей репликой, исполненной едкости и сарказма, и затем снова отдавал себя во власть печатных слов. В своей презрительной манере обращаться с людьми он был совершенно невыносим. Всякий диалог он мгновенно обращал в монолог и, разумеется, в свой. Если бы разрешалось не стесняться в выражениях, он никогда не называл бы людей по имени, он просто именовал бы их дураками, для отличия прибавляя каждому из них какой-нибудь эпитет, — долговязый дурак, пузатый дурак, эстетствующий дурак, глубокомысленный дурак, меланхолический дурак. Все же остальные безнадежно считались у него кругосветными дураками. Всякого, кто ему возражал, он искренне ненавидел. Никто никогда не слышал, чтобы он кого-нибудь хвалил или хотя бы признавал. Впрочем, это относилось только к живым людям. Среди покойников было у него достаточно много любимцев, но некоторые из них стали таковыми лишь после смерти. Шварцман получил философское образование, занимали же его вопросы морали, но пищей и материалом для его стреляющих умозаключений была экономика. Всем была известна его неизменная слабость поддаваться словесной провокации, друзья любили этим пользоваться и подзадоривали его каким-нибудь парадоксом или явной очевидностью. Тогда он вскакивал, взъерошивал свою черную щетину и начинал извергать стре-



мительную лаву колючих, злых слов, неизвестно против кого направленных.

Услышав замечание Гарриса, Шварцман нервно вскочил и замахал руками, как дирижер, чтобы заставить себя слушать. В такие моменты он представлял собой очень комическую фигуру. Туловище у него было длинное и, когда он сидел за столом, казался такого же роста, как и все остальные. Но зато, когда вставал, оказывался крохотным человечком на коротких, кривых ножках, с большой головой.

Помахав руками и оставив в воздухе растопыренные пальцы, он начал:

— Да простят мне блестящие представители лучшей из цивилизаций, здесь сидящие (впрочем, я сам имею честь и по происхождению своему и по воспитанию принадлежать к средиземной культуре), но из всех возражений, которые обычно делаются Магнусену, самое дельное из них принадлежит нашему общему шоколадному другу. Да, Гаррис обронил очень верное замечание. В Европе слишком холодно для неевропейцев. И физически, и духовно. Духовно, потому что христианский мир чересчур зазнался, безнаказанно обнаглел. В духовном распутстве своем он умертвил живой нерв исторического предания и позабыл о своих моральных задачах.

Вслед за тем, в кратких словах, постепенно взвинчиваясь, он в двадцатый раз повторил содержание своей книги, которая называюсь «Пропавшие заветы». Из-за небрежности и безвкусыя издателя, из-за глупейших и грубейших опечаток «Пропавшие заветы» обратились в курьезный раритет. Несколько экземпляров книги попали к библиофилам, а остальные по требованию автора были сожжены. Так никто ее и не читал.

В этой книге он говорил о том, что сила, отвоевавшая красоту у Аполлона, пески у ислама и леса у Перуна и Тора, — потеряла свое обаяние, и потому она больше не сила. Она держится только на старых, зачерстневших словах. Обещание пророка Исайи, что царство грядущего идеального владыки, то есть, как думали, христианства, будет покоиться на незыблемых основах права и справедливости, — осталось

неосуществленным. Если заветы Христа еще соблюдают-ся иногда в жизни отдельными людьми, то их совершенно нет в истории, которая на протяжении всего своего существования не додумалась до иной этической философии, как восхваление победы приспособленного. Слабые пусть погибают, право на жизнь принадлежит только сильным — вот чему учит история, самая безнравственная из наук! Иногда только она приводит исключения, но они кажущиеся, и достаточно к ним применить логический микроскоп, чтобы объяснить то или иное нравственное историческое событие чьей-нибудь грубой заинтересованностью или простой выгодой.

— Даже в биологии есть этика, и только христианский мир ее не имеет! — восклицал Шварцман. — Государства, строго следящие за нравственностью своих граждан, сами дают примеры вероломства, лжи, эгоизма, несправедливости и лицемерия!

Тоном суровым и предостерегающим Шварцман звал человечество провести заветы Христа в историю и построить на этих заветах отношения между государствами, чтобы создать любовь к ближнему в истории. Иначе, говорил он, придет великая разруха, которая уничтожит всю культуру и явит людям печальное, ужасное, хотя и самое нравственное из зрелищ — бессилие силы.

— Христианский мир зазнался! — выкрикивал Шварцман. — Он попирает всякую мораль. И вот почему страны буддизма и ислама не могут не взирать на него с презрением. И вот почему неевропейцам здесь холодно.

Магнусен, не выносивший пафоса и проповедей, слушал Шварцмана с искривленным лицом, точно пил уксус. Когда тот окончил, Магнусен, облегченно вздохнув, сказал:

— Ваш пафос, прошу прощения, не больше, как отработанный пар: он горяч, но не продуктивен. Впрочем, это обычное свойство пафоса семитов. В облаках этого пара, кстати сказать, вы потеряли дорогу и сбились: вы забыли рассказать нам о холоде физическом. О духовном — мы уже давно знаем, ибо кто же не читал пропавшей книги с пропавшими заветами!

— Я очень благодарен Магнусену за внимание, — подхватил Шварцман. — Очень. Очень. Но меня это не удивляет: мне давно известно, что наиболее внимательны к сеμιтам господа антисеми́ты. Только я разочарую вас, дорогой наездник, объезжающий чужих лошадей. (Я говорю о чужих теориях, которыми вы пользуетесь.) Увы, я вас разочарую.

И тоном соболезняющего высокомерия, после подчеркнуто-театральной паузы, засунув руки в карманы пиджака, он оказал:

— Знаете ли вы, как надо было называть нашу эпоху? Магнусен, обожающий историю и наивно разыскивающий в ней аналогии, готов воспользоваться старым термином и назвать ее — вторым переселением народов. Этого и надо было от него ждать. Он эклектически, как губка, впитал в себя великое множество расовых теорий, особенно теорию Гобино и Чемберлена — об опасности смешения рас, которое, мол, ведет к убудочности — и страшно боится расовых мезальянсов. Гобино уверил его, что из-за смешения погиб античный мир. По аналогии Магнусен убежден, что из-за этого погибнет Америка. Туда ей и дорога, говорит он. У меня на этот счет нет никаких теорий — по той простой причине, что их и не может быть. Расы всегда смешивались и всегда будут смешиваться, и никакой культуре это не помешает. Я же останавливаюсь на другом моменте, и потому называю нынешнюю эпоху — «эпохой борьбы за тепло».

— Это тоже старо: борьба за огонь! — перебил его Магнусен.

— Но я не опираюсь на историю. Я изучаю современную экономику. Нефть и уголь! — вот, что движет сейчас человечеством. Не вопросы морали, не вопросы этики, а только лишь нефть и уголь. Что это значит? Во имя чего это совершается? Что диктует эту сумасшедшую борьбу за нефть Америки, Танганайки, Филиппинских островов, Гаити, Персии, Кавказа, Туркестана, Малой Азии, Румынии, Сахалина? Ненасытный империализм? А он чем диктуется? Старой мечтой, в свое время пленявшей Александра Македон-

ского? Нет, к большому сожалению, времена пышных сказок миновали. Тут чувствуется совсем другое — становится холодно. Иссакают источники тепла в Европе. И наша дряхлая старушка сильно опасается, что на зиму она останется без дров. Их растащат ловкие американцы и пронырливые желтые страны Восходящего солнца. Подчеркиваю: Восходящего солнца. Ибо там-то действительно взойдет новое солнце. Холод убьет нашу промышленность, заморозит военный флот, и дирижерский пульт, естественно, будет перенесен из Европы в другое место. Я не скорблю об этом, как скорбит верный рыцарь старушки — Магнусен. Ибо, вероятно, там-то и начнется новая жизнь и загорится новая звезда преображения. От нефти и угля к нетленному Логосу! От бездушного рационализма к магии возвышенных идей. Так вот, дорогой Магнусен, не негры, не буряты, не гунны и не готы разрушат любезный вашему сердцу современный Рим. Его убьет холод. Духовный холод уже давно его заморозил, а физический только начинается. В смутном предчувствии его старая шлюха Европа засуетилась, как крыса на тонущем корабле. Но это бесполезно — холода ей не избежать. Холод...

— Как, и у вас холодно? — певуче прозвучал вдруг голос в дверях, как флейта в потемках.

Шварцман с полукрытым ртом нервно повернул свою черную щетинистую метлу на плечах, чтобы тотчас же отвернуться и умолкнуть: в присутствии Карен Хокс вряд ли бы нашелся у него слушатель.

Это была опереточная актриса, светловолосая, с ласковым ртом и задумчивыми глазами, над которыми резко чернели, как бархатные тесемки, густые, ровные брови. Она была закутана в меха, среди которых розовело ее румяное от мороза лицо. Ларсен, как пружина, стремглав подскочил к ней, схватил ее под руку и потащил к столу. Несильно упираясь, Карен слегка отставала от него, гладила рукой мех и роняла улыбки — то тем, то другим.

Лицо у Шварцмана сразу стало апатичным и скучающим. Он презрительно повел бровями и обиженно опустил на стул. Вяло хлебнул немного вина, в досаде резко ото-

двинул от себя бокал и высоко поднял — точно от холода — свои покатые, узкие плечи. В таком положении он надолго застыл.

Некогда Шварцман о Карен выразился кратко:

— Стоит ей посмотреть на мужчину и шевельнуть при этом бедрами, как он тотчас превращается в собачонку, мечтающую о наморднике.

Его верное замечание все, однако, приняли как отзыв евнуха об одалиске. И никому не могла прийти в голову мысль, что этот желчный урод своим едким красноречием, карикатурным безобразием и беспредметным энтузиазмом целых две недели успешно взвинчивал и утолял бурную ненасытность ее капризного тела.

### III

Магнусен выразился о Карен несколько иначе.

— Эта женщина — плохой перевод с французского. Но зато перевод сильно напрашивается на редакторскую правку.

Его шокировало, что больше всего на свете ее занимала жизнь боксеров, убийц и фильмовых актрис. Но, присмотревшись к ней, он дополнил свой отзыв более образно:

— Ее голова и бюст принадлежат Мадонне; все остальное — от Венеры всенародной, особенно ее кивающие бедра.

И говорил это тоном далеко не раздражительным, со сдержанной улыбочкой, оставлявшей после себя мутные огоньки в его глазах.

Не надо было, однако, иметь магнусеновскую наблюдательность и опыт, чтобы по внешности распознать в ней механический сплав девичьей чистоты и грубого притяжения пола: контраст был резок и отчетлив. Чувствовалась Афродита, погруженная в оргиастические таинства Астарты. Тонкая нежность ее лица, задумчивого, полусонного, подчеркивалась женской первосущностью ее вечно трепе-

тавших боков. Здесь неизменно играла нечистая, возбуждающая страсть. Угадывались неожиданные шалости. Сулилось неизведанное. Ощущалось зазывающее тело, изощренное в колдовстве любви.

Карен отлично играла на бильярде, и когда она, прицеливаясь кием, широко расставляла ноги, крепкие, как у Дианы-охотницы, ее колени, обозначавшиеся под суконной юбкой, отвлекали — у всех, у всех! — взоры от карамбольных шаров, от кончика кия и от лица самой Карен, на котором дрожала стыдливая девичья улыбка.

У нее был хороший голос. Она пела в опере. Но чуткие антрепренеры и поклонники, на самих себе испытывшие власть ее чувственной стихии, убедили Карен перейти в оперетку, где бесстыдство, кокетничавшее целомудрием, копируется превыше всего.

Ларсен посматривал на нее, как кошка смотрит на канарейку в клетке, и отходил в сторону. Ее любовная общительность была ему хорошо известна. Но Магнусен, сообщивший однажды, что она умеет до бесконечности варьировать свои увлечения, не повторяясь, — отбил у него охоту даже ухаживать за ней. Он испугался, что окажется недостаточно оригинальным, — и изнывал по ней издали и украдкой. Он посылал ей корзины цветов, скромно и робко навещал ее и так же робко принимал ее на своих субботах.

Привыкшая к необузданному преклонению, Карен, естественно, была озадачена. Склонив голову набок, она с досадой и любопытством разглядывала его. Вероятно, точно таков был взгляд евангельской блудницы, встретившей праведника, который оказался в силах устоять против ее чар.

Однажды она сказала Ларсену:

— Вы, должно быть, больны.

Он удивился и широко раскрыл глаза.

— Я?... Откуда вы это взяли?

Оглядев свою крепкую, коренастую фигуру, он развел руками, способными остановить телегу на ходу, и звучно расхохотался.

— У вас нет уверенности в себе. Это признак физически слабых и больных.

Он изумленно похлопал веками и — вдруг сообразил.

— Да, вы правы. Я действительно болен: я робок с женщинами. Особенно с теми из них, которые пользуются успехом.

— Надо полечиться.

— С завтрашнего дня начну.

И Ларсен начал лечиться. Тогда к нему пришло то упорство, то рвение, тот энтузиазм, та способность переступить границы, которая так нравится женщинам. Он сбросил с себя сдержанное спокойствие, похожее на спячку и, точно сотрясаемый чувственной судорогой, иступленно бросился побеждать охотницу, опытную в западнях.

Его письма были неистовы. Его подарки и сюрпризы — ошеломительны по своей дерзкой нелепости. Однажды он скупил все театральные билеты на ее спектакль и в зрительном зале сидел один. В другой раз, услышав, как она жалуется на то, что улица перед ее домом вымощена булыжником (грохот экипажей беспокоит ее утренний сон), он распорядился за свой счет залить весь квартал асфальтом. В третий раз (тут уж никто не мог упрекнуть его в показном внимании, ибо об этом узнала только Карен) он прислал ей купленное им на аукционе золотое биде.

Так и казалось: к наследственной настойчивости — от прапрадеда — присоединилась шалая безудержность славянских номадов, их безоглядное озорство... По крайней мере, Магнусен, изумленно вытягивая худую жилистую шею, стянутую высоким крахмальным ошейником, уверял, что в поступках Ларсена он слышит ураганный налет скифов и их безрассудные восторги — в виде визга и свиста.

Он кричал:

— Разе вы не видите: это наездник-славянин!

Карен задыхалась от смеха, узнавая о сумасбродных выходках Ларсена, но, конечно, понимала, что они исходят от широкого сердца. Это привлекало ее к нему. Постепенно он заполнил ее собой. Она думала о нем часто, требовала его присутствия за кулисами, писала ему заигрывающие

записки, но тело — отдавала другому.

Вероятно, оттого, что мучительство отличная приправа для наслаждения.

— О чем это вы диспутировали? — спросила Карен, растирая похолодевшие пальцы.

Магнусен, придвинув фрукты и вино, нетвердо сказал, точно извиняясь за тему:

— О высших и низших расах.

Карен поморщилась. Она была норвежка. Несколько пренебрежительное отношение датчан к ее нации всегда возмущало ее. И в словах высокомерного Магнусена, бывшего офицера, аристократа, ей послышался скрытый намек на то, что к низшим расам он как раз причислял норвежцев.

Она вызывающе спросила:

— Какие же это высшие, какие низшие?

Наливая ей в бокал токайского вина, Магнусен заранее улыбнулся своей будущей беспроегрышной сентенции и, ожидая одобрения, четко сказал:

— Высшие — это те, которые пьют вино. Низшие — пьют пиво.

— Вот чему мне никогда не научиться! — с простодушной восторженностью воскликнул Ларсен. — Афоризмы мне не удаются.

Магнусен полушутливо заметил:

— В этом виноваты предки. История знает много случаев, когда целый ряд поколений бесполезно коптил небо только для того, чтобы один из потомков совершил какую-нибудь удачную вещь или произнес всего лишь несколько удачных фраз.

— Например? — спросила Карен.

— Например? — повторил Магнусен и жадно вздохнул в себя запах ее духов. Например? (Дерзкий огонек пробежал в его глазах.) Например, принц де Линь. Был такой принц. Его предки решительно ничем не были замечательны. В течение столетий они, по-видимому, накапливали юмор, чтобы полностью передать его фельдмаршалу де Линю, который прославился не столько своими военными успехами, сколько своими остротами, в том числе фразой, сказан-



ной по поводу... по поводу... Сейчас не вспомню, кого именно он имел в виду. Знаю только, что речь шла о любовнике одной прекрасной дамы. Так вот, он произнес афоризм, ставший незаменимым лозунгом для позднейших поколений.

И, плотоядно прищулив глаза, Магнусен произнес, вызываясь глядя в лицо Карен:

— «Лучше иметь 50 процентов в хорошем деле, чем все сто в плохом». Вот что он сказал по адресу любовника.

Карен одобрительно улыбнулась, поправила локоны на висках и глотнула немного вина.

— Кажется, что мы все в опасности! — закричал Ларсен, подавляя в себе ревнивую досаду. — Не выкинуть ли нам сигнал о помощи?

— Преждевременно, — успокоительно заметила Карен и, чтобы замаять двусмысленность Магнусена, которая, чего доброго, могла кончиться дуэлью, смакуя повторила:

— Высшие расы пьют вино; низшие пьют пиво. Неплохо!

— Что же вы в таком случае окажете о тех нациях, которые пьют простую водку? — язвительно откликнулся Шварцман, перебегая глазами с Карен на Ларсена.

Всем было ясно, что он имеет в виду русских и норвежцев, намекая на хозяина и гостью.

— О присутствующих не говорят! — двойным залпом выпалил Магнусен.

Все засмеялись.

— Браво, Магнусен, браво! — искренне сказал Ларсен и дружески похлопал его по плечу. — Ты сегодня в ударе.

Шварцман, не выносивший, когда при нем кого-нибудь из живых людей хвалили, заерзал, презрительно шевельнул бровями и сказал своему соседу так, чтобы слышали другие:

— А по-моему, лучше 50 процентов принца де Линя, чем все 100 процентов Магнусена...

— Еврей не может обойтись без конкуренции, — заметил Магнусен и показал ему кончик языка.

Вот каковы были субботники у Георга Ларсена.

## IV

Циничный афоризм принца де Линя впоследствии вспоминался Ларсену несколько раз, но впервые он подумал о нем через два месяца после сближения с Карен.

Она любила его. Он это знал. Но Ларсен был не настолько интересен, чтобы она могла любить его одного. И это он тоже знал.

Так оно действительно и было. Потому что не любовные ухищрения, не сумасбродные выходки, не бурный молодой энтузиазм пленили опытную в любовных делах Карен. Ее подкупило в нем то, чего он сам не подозревал в себе — бесхитростное простое сердце, способное жертвенно распластаться.

Магнусен, ревниво следивший за исходом любовной кампании, почти точно поставил диагноз: Карен увлеклась пафосом простоты.

Свернувшись по-кошачьи на большом квадратном диване, она способна была часами смотреть в голубые глаза Ларсена и слушать песенки, мелодичные русские песенки, которые он тихо и задушевно напевал под аккомпанемент семиструнной гитары. Этим песенкам некогда научила его мать, остро тосковавшая по своей стране. Родные напевы приближали к ней далекую, навсегда для нее потерянную, величественно-простодушную Россию. Звук порождал видения. Они ясно и четко выплывали перед ней в виде зеленых просторов, солнцем залитых, спокойно ленивых и задумчивых. Но прозвучавшее вдруг коленце оживляло сонное величие равнины, и тогда ослепительно сверкала перед ней пестрая, кумачовая и краснощекая суতোлка ярмарок и ощущались запахи дегтя, рогожи и овчинных тулупов. Тогда глаза у матери темнели, покрывались влажной поволокой и дрожали полураскрытые губы: Россия! Россия!

Маленький Георг Ларсен, Юра — как звала его мать — испуганно вскидывал на нее васильковые глазенки и той половинкой своей души, которая незримо была связана с предками матери, чутко ощущал ее щемящую и одинокую

боль: Россия! Россия!

— Когда я буду большой-большой, я на корабле отвезу тебя в Москву, — утешал он ее.

И эти самые песенки — о ямщиках, изливающих свое горе в быстрой езде, о беспричинной тоске, порожденной степью, о женщине, которая изменила, — Ларсен пел перед Карен своими теплым глуховатым баритоном. Его пение, его откинутая голова, его крепкие белые зубы словно вводили ее в чужой мир, отдававший черной землей и безоглядной удалью. Извращенным сердцем своим, которое давно уже заблудилось в искусственностях ее ремесла, не признававшего никаких национальных границ, она смутно чувствовала, что он какой-то другой, удивительной расы. Мелодичная простота его песен на твердом, звучном, непонятном языке таинственно волновала ее. Его голос щекотал ей нервы. И тогда к горлу, к сердцу, к глазам подступали пухлые мокрые пузыри, вызывавшие у нее желание тихо поплакать и покорно довериться этому большому голубоглазому мальчику, чьи мягкие пальцы так ловко перебирали струны и большой гитары и ее маленькой, зачерствевшей и порочной души.

Но та же душа, капризно беспокойная, вечно жаждавшая новизны и острых озарений, очень скоро стала тяготиться унынием равнинных песен. Замкнутая жизнь, очерченная однообразием, прискучила, а главное — напугала Карен: чего доброго, можно заплесневеть, скиснуть, покрыться ржавчиной. Уж и так острили на счет нее. Таис-отшельница! И когда ей предложили сыграть роль международной кокотки в фильмовой пьесе «Водоворот», она с восторженной радостью ухватила за это предложение, мгновенно сбросила с себя тихое уныние затворницы и блаженно окунулась в заедающую суету того мира, где главенствуют портнихи, сапожники, парикмахеры, маникюрши и — на всякий случай — юркие комиссионеры. После долгого перерыва на столиках будуара и гостиной появились пестрые журналы, посвященные спорту, зрелищам и модам, и романы из жизни боксеров, убийц, авантюристов и мрачных гипнотизеров.

Одновременно зачастили новые лица, молодые и старые, — а в числе их и Магнусен, напружиненный, как индюк.

Ларсен всячески пытался не отставать от Карен, но в жидком пламени ревности очень скоро растворилась вся его прыть. Он отставал. Вот тогда-то и вспомнилось: лучше верные 50 % в хорошем деле, чем... Сколько ни противилось все молодое нутро его этому циническому старческому компромиссу, но при мысли о клейкой Карен, от которой так мучительно трудно оторваться, приходилось подавлять в себе возмущение и с покорным смирением ожидать будущего компаньона. Кто он такой ?

Чтобы не растравлять себя обидными, уязвляющими мыслями, Ларсен возобновил почти прерванную работу в конторе. Но это была видимость, еще большая, чем прежде. Вкрадчивые голоса служащих стали еще более вкрадчивыми, а шаги их более эластичными — его щадили, жалели, оказывали все знаки служебного почтения. Зато в дальних комнатах конторы, где колыхались головы счетоводов, где трещали ремингтоны, — неумолимо жужжали на всякие лады распространяемые слухи о его разрыве с Карен.

Разрыв, однако, еще не наступил. Было томительное ожидание его и злое, бессильное предчувствие, от которого устало замирало сердце. Затем показались и первые признаки разрыва: морщинистая скука на лице у Карен, придиричивая раздражительность и полное равнодушие к его подаркам. Заместитель еще не обозначился, но Ларсен понял, что путь и место для него уже подготовлены. Это повело к ничем не подавляемой подозрительности, с которой он встречал каждого появлявшегося у Карен.

Физическая близость с ней, еще недавно волновавшая его и до и после ласк, постепенно переставала удовлетворять даже его тщеславие. Он чувствовал себя пустой посудой, которую сейчас уберут со стола, и теперь уж целью его было не удержать Карен, а только отдалить срок предстоявшего конца, чтобы успеть вытравить в себе досаду и злость.

Среди таких мыслей, исполненных отчаяния, как неожиданный огонек в темную ночь, блеснули слова телеграммы, внезапно полученной от старика Гольма:

«Очень прошу немедленно приехать. Дело приближается к развязке. Моя жизнь тоже приближается к концу».

Так и прозвенело в ушах ликующее лукавство: «Счастливый случай затянуть последний акт!»

Как школьник, радостно запыхавшийся, примчался он к Карен, которая последнюю неделю проводила в Клампенборге, споткнулся о ковер и восторженно предложил:

— Едем в Америку.

Карен в это время штопала чулки. Так уж полагалось: в промежутках между оставляемым возлюбленным и новым на нее нападала тоска, которую она изживала починкой белья и штопаньем чулок. Это погружало ее в былые настроения молодости, в уют прошлого, когда в тишине убогой деревенской каморки, под тиканье часов, к ней слетались пышные девичьи мечтания. Заштопанные чулки она потом отдавала горничной, но сама работа увлекала ее безмерно.

— Куда? — презрительно поморщившись, спросила Карен, не отрываясь от чулка, надетого на суповую ложку.

— В Америку.

— Чего я там не видела?

В торопливых словах, пересыпанных междометиями, он стал убеждать ее: в фильмовой съемке перерыв; прекрасный случай прокатиться в страну, в которой она никогда не была; новые впечатления; несколько фотографических снимков в газетах — полезно, полезно!

Она ответила кратко:

— Это скучно!

Он не унимался. Снова привел прежние аргументы, только в другом порядке.

Она сухо повторила, вытаскивая ложку из чулка:

— Нет, это неинтересно.

Тогда он робко заметил:

— В моем обществе, я понимаю... А если пригласить Магнусена?

— Он не поедет, — деловито произнесла Карен. — У него скверные дела.

Ларсен подхватил:

— Это предоставь мне. Я берусь помочь ему. Речь идет о получении кредита в Промышленном банке. Моя подпись на векселе, — и все устроено.

Несколько мгновений она не отвечала. Затем шевельнула бровями, встала и, потягиваясь, как кошка, с усмешкой заметила:

— Все-таки, я думаю, он не согласится.

Ларсен вздохнул, нервно потерев перчатку («Вот как! Значит, вся остановка за Магнусеном!») и, наскоро попрощавшись, помчался к нему.

— Окажи мне услугу, — сказал он ему с места в карьер, хотя дорогой решил, что будет говорить с ним иначе и начнет издалека. — Не отказывайся поехать с нами и убеди Карен.

Магнусен потрогал острые концы туго накрахмаленного воротничка, поцелкал в воздухе сухими белыми пальцами и усмехнулся.

— Ты берешь меня в качестве громоотвода? — язвительно спросил он.

— Нет, ты будешь дождем, который освежает атмосферу, — ответил Ларсен, похлопывая его по плечу.

После этого он сам заговорил о кредите в Промышленном банке, и через несколько минут все было улажено.

Два дня спустя веселым трио они мчались через Берлин в Париж и Бордо, чтобы в Лиссабоне сесть на пароход, уходящий в Пернамбуко. Оказалось, что из-за сильных туманов и опасности наткнуться на появившиеся в океане гигантские пловучие льды, сообщение с Северной Америкой уже неделю как прекратилось. Пришлось ехать кружным путем.

Все были довольны. Ларсен — одержанной победой. Магнусен — сознанием своей роли и влияния. Что касается Карен, то ей нравилась неожиданность маршрута, а главное, что очень немногие отваживались пускаться в опасный путь, а она ехала, как ни в чем не бывало.

Когда Ларсен вдохнул соленую свежесть океана, он впервые подумал о старике Гольме и недоуменно спросил себя: «А зачем, собственно, он меня вызывает, этот старый фантаст?»

## V

В этот год передвинутый Гольфстрем, вероятно, добрался, наконец, до первобытной мерзлоты Гренландии и одолел ее. Первыми вестниками этой победы были айсберги из глетчерного льда, появившиеся уже в феврале. Они быстро заняли площадь на запад от Гренландии, затем, под напором задних рядов, громоздясь друг на друга, перескочили молодую ветвь Гольфстрема и закружились у острова Ян-Майен, где обычно они показывались только лишь в мае. Здесь, в постоянном движении, раздробляясь один о другой и смерзаясь снова, толпившиеся айсберги огласили тишину севера непрерывно рокочущим шумом и грохотом, от которого дрожал воздух. Находившимся поблизости китоловным судам временами казалось, будто слышится яростная канонада. Испугались даже киты. Целые стаи их тревожно хлынули к берегам Скандинавии, гоня впереди себя густые массы обезумевших сельдей.

В марте появились айсберги материковые. В беспорядочных полчищах заскользили они с плеском и шумом по всему океану, неожиданно появляясь на мировых путях. Теплые воды, обтачивая их надводные края, оставляли части подводные, которые остриями своими выступали далеко вперед и коварно пробивали неосторожные суда. Погруженные в воду на семь восьмых своей толщины и не всегда заметные на поверхности моря, айсберги подкрадывались к судам так близко, что их обнаруживали в последний момент. За одну неделю между Исландией и Шпицбергом затонуло множество транспортников и рыболовных шхун, а на линии Гамбург-Нью-Йорк пошли ко дну четыре гигантских парохода американского Ллойда. Трагическая

гибель этих пловучих городов переполошила всех мореходов, и суда боязливо попрятались в гаванях, опасаясь айсбергов так же, как во время великой войны опасались подводных мин.

Морское сообщение с Северной Америкой прекратилось. Одновременно из-за холодных мглистых туманов прекратилось и сообщение воздушное. Казалось, будто океан яростно восстал против человека и наотрез отказывался ему служить. По крайней мере, суеверные моряки были убеждены в этом. Они и об айсбергах говорили, как об одушевленных существах, — подкрался, подкараулил, напал, — и распростирая жуткий, пугавший воображение слух о том, что в Саргассовом море, в густой чаще водяных зарослей, столпились главные массы льдов и что айсберги, подступавшие к Европе, не больше, как разведчики.

Люди сухопутные, отдаленные от моря и очень мало думавшие о нем, ощутили бунт водяной стихии в виде холодной, дождливой погоды, обратившей всю Европу в аквариум. Вдобавок, сильно вздорожала рыба: самые неустрашимые из моряков не отваживались выходить в открытое море.

В середине мая все европейское побережье оказалось в настоящей блокаде. Северо-восточные ветры пригнали новые караваны айсбергов огромного размера к берегам Британии и Голландии, где их никогда не видели. Точно хищники у нор, караулящие добычу, неподвижно стояли они перед входами в гавани, излучая зеленовато-голубой блеск, особенно по ночам, когда игра звезд, расцвечивая айсберги изнутри, делала эти большие кристаллы похожими на гигантские алмазы. Без устали перемигиваясь между собой, они бросали в темные просторы неба целые снопы искр — голубых, зеленых, фиолетовых и желтых. Толпам народа, с жутким любопытством разглядывавшим с берега невиданное зрелище, начинало казаться, что ледяные гости, явившиеся из арктических стран, занесли с собой часть северного сияния.

В июне сплошной зубчатой стеной двинулись из Баффинова залива айсберги голубые. Тогда же получилось ра-



дио из Северной Америки, извещавшее о том, что внезапно сползшие глетчеры совершенно разрушили старые датские городки Готтоб, Фредериксдал, Ивигтут, лежавшие на западном берегу Гренландии. Об этом рассказывали спасшиеся жители Готтоба. С их же слов радио еще сообщало, что прозрачно-голубой лед спустившихся глетчеров был крепок, как сталь. Судя по их описаниям, это был старый лед, который с отдаленных времен оставался нарастающим. Эскимосы суеверно утверждали, что он не плавится даже в огне.

Научный мир растерялся. У многих — геологов, физиков, географов и астрономов — серьезно возникала жутковатая мысль, что повторяется стародавняя история с глетчерами, некогда двинувшимися на Европу. Немецкие ученые вспомнили по этому поводу забытую теорию геолога Векерле, утверждавшего, что процесс накопления льдов совершается быстрее, чем процесс таяния, и что поэтому человечество находится в межледниковом периоде. За несколько сот тысяч лет на севере накопилось столько льда, что в конце концов он вынужден будет двинуться на юг — предсказывал Векерле, и его теория, по-видимому, оправдывалась. Так вот от чего погибнет европейская цивилизация! Не от собственной слабости, не от вырождения, не от общественного склероза и не от засилья грубой демократии, — а от ледяной стихии. Эта мысль окрепла, когда в самый разгар прений в Лондонском географическом обществе о причинах появления айсбергов вечерние газеты внезапно закинули в зал заседания поразительное сообщение: у мыса Бланко, на побережье Западной Африки, с прибитого к берегу айсберга прыгнула голубая полярная лисица, которую через несколько часов подстрелили. Полярная лисица под тропиком! Чуть ли не в Сахаре! Уж не переместился ли полюс?

Две недели спустя эскадрилья летчиков с Ньюфаундленда, совершившая полет над Гренландией, передавала, что с центральных возвышенностей острова хлынули к берегам огромные массы талой воды и что значительная часть осмотренных пространств покрыта лагунами. При этом от-

мечалось, что на западном берегу летчики обнаружили следы какого-то поселения, на картах не обозначенного. Предполагалось, что сдвинувшиеся льды обнажили старинную норвежскую колонию Остербигден, погибшую от глетчеров в 16-м веке. Новые данные — тающая Гренландия! — опровергали уже было принятую теорию напоязания глетчеров и снова сбили с толку научный мир.

Но как бы там ни было, величайший из островов земного шара, почти целиком пребывавший во власти арктических льдов, неизвестно под влиянием каких причин неожиданно проявлял весеннюю жизнь. Никто не понимал, что происходит.

Впрочем, один человек догадывался, в чем дело. Его старое, совсем изветшавшее сердце бурно трепетало от восторга. Когда никто не видел, он умиленно плакал, конфузливо разглядывая падавшие из его глаз крупные, горячие слезы.

## VI

Четырехэтажный пароход «Спленидид», на котором плыла Карен со своими спутниками, был самым большим из передвижных отелей Старого и Нового Света. Обычно он совершал быстроходные рейсы между Гамбургом и Нью-Йорком, с величавой небрежностью пересекая водяную пустыню ровно в четыре дня. Но когда на морских путях коварно заскользили ледяные чудовища, он робко притаился в зеленоватых водах гамбургской гавани — и точно затих. Всегда клокотавший, гулкий и ярко озаренный, — электричеством или солнцем, — всегда излучавший пахучую, сытую теплоту, теперь он потускнел, съежился и мертвенно затих, отдавая сыростью застоявшейся влаги. С глянцевиных палуб его поисчезали удобные лонгшезы, на которых дамы и мужчины, заделанные в кожу и полосатые пледы, предавались изящному отдыху после утомительного безделья. Исчез золотой блеск вычищенной меди, вкрапленной в деревянные части парохода, и теперь медь была жалко об-

мотана и прикрыта клеенкой и бумагой. Испарился и возбуждающий запах гаванских сигар, неизменно обволакивавший все судно и во время стоянки, и во время следования по океану. Погрузившись в задумчивость, «Сплэндид», казалось, угас навсегда.

Полученное из Лиссабона радио мгновенно оживило его. Сначала засновали стюарды, забежали, засуетились горничные, захлестали швабры, а затем дрогнуло что-то внизу, зашипело, заклокотало, и снова вылилась наружу гордая напряженность парохода, подтверждавшая его название.

Таинственно выполз он из гавани, не забрав ни одного пассажира, вышел в открытое море и, провожаемый изумленными взглядами, быстро исчез в молочном тумане, который волновался на горизонте. Через сутки «Сплэндид» уже был в Лиссабоне, имея на себе флаг Южно-Американской паровой компании, по-прежнему сверкающий своим великолепием и озаренный сиянием свежести, а еще через день он покинул и эту гавань в отважном намерении пересечь коварный океан. Но теперь скорость «Сплэндида» была вдвое уменьшенной, а впереди его, не отставая и не топясь, точно ведя его на буксире, шли два стареньких парохода, постоянно готовые принести себя в жертву тем случайным айсбергам, которые появлялись и здесь. Однако эти предосторожности, как и праздничная роскошь «Сплэндида», вызванного сюда с целью соблазнить испуганных туристов и дельцов, — не заполнили бесчисленных кают его. Из Лиссабона «Сплэндид» вышел на две трети пустой.

Газета, обычно выходившая на пароходе три раза в день, появлялась только к обеду, в семь часов вечера. Оранжевый бар, всегда освещенный адскими огнями, теперь мрачно пустовал, и сталактитовый грот его зиял, как открытая голодная пасть. Струнный оркестр в танцевальном зале звучал уныло и с большими перерывами. Немногочисленные пассажиры тоскливо бродили по палубам и через большие цейсовские бинокли тревожно бросали взоры то на далекий горизонт, то на двух вахтенных, которые с высоты мачты зорко обшаривали подзорными трубами водяную гладь, следя за тем, не видно ли льдин.

Карен была разочаровала и злилась. И Магнусен и Ларсен обещали ей беспрерывные развлечения и оживленную сутолоку туристского безмятежия. Вместо этого на «Спленидиде» с утра до вечера тянулось скучное уныние прибежища для старых дев. Вдобавок, в первый день она получила неприятное радио, посланное ей вдогонку из Копенгагена. Радио излагало настоятельную просьбу какого-то норвежского общественного комитета приехать в Осло и принять участие в концерте или спектакле в пользу северян, пострадавших от исключительно жестокой зимы и холодного лета. Лаконичные подробности бедствия ужаснули Карен и задели ее патриотизм. Если бы не это путешествие, она немедленно помчалась бы на родину, и естественно, что за невозможность вернуться поплатился Ларсен. Ее упреки и брюзжание очень быстро перешли в грубую несдержанную ругань, усвоенную ею за кулисами.

Магнусен пострадал значительно меньше, но зато должен был во что бы то ни стало объяснить ей причину бедствия, постигшего прибрежных жителей севера Норвегии. Он напряг память и вспомнил все то, что за последние дни читал в газетах — холодные течения из Ледовитого океана и внезапное понижение дна. Но сразу же запутался в своих объяснениях и отыгрался только на том, что вовремя не упустил случая заметить:

— По-моему, Ларсен должен лучше знать, в чем дело. Благодаря всюду наступившим холодам сильно повысились цены на дрова. Он неплохо заработал на этом деле. Очень неплохо!

У Карен от гадливости искривилось лицо.

— Торгаш! — презрительно сказала она. — За это я заставляю его пожертвовать в пользу пострадавших вдвое больше.

Разговор происходил в кают-компании. В это время Ларсен, где-то пропадавший, показался вдруг у окна и стал делать знаки Карен, чтобы она вышла на палубу.

— Он мне прямо-таки надоел! — бросила она раздраженным тоном и отвернулась от окна. Но спустя мгновение резко поднялась, зло шевельнула губами и направилась к

выходу.

— Я никак не могу себе простить, что согласилась на это дурацкое путешествие! — сказала она у самой двери.

Магнусен чуть-чуть улыбнулся, потрогал кончики крахмального воротничка и негромко заявил:

— Зато я... Я хотел сказать...

Закончить фразу он не успел, потому что за дверью стоял Ларсен, немного взволнованный и торопливый в движениях. Было видно, что он явился с какой-то новостью.

— В чем дело? — со скупающей интонацией спросила Карен.

— Идемте скорее, вы сейчас увидите нечто поразительное.

— Воображаю! — обронила Карен и перебросила через плечо серую шаль.

— Вот увидите.

Мимо них быстро пробежало несколько человек — расплывшийся португалец в широчайшей панаме, стройный юноша в свитере, дама, походившая на бульдога и так же, как бульдог, сопевшая. Доносились тревожные голоса.

— В чем дело? — в сердитой тревоге опросила Карен.

— Сейчас вы все узнаете, — с деланным спокойствием ответил Ларсен, и стал вынимать из футляра свой огромный бинокль.

— Айсберг? — вопрошающе заметил Магнусен.

— Да.

Карен прижала руки к вискам и в ужасе воскликнула:

— Это ведь опасно!

— Да нет же, — успокоил ее Ларсен и нежно взял ее под руку. — Какую опасность может представить одна льдина среди океана! Ведь ее всегда можно обойти.

— Но все таки? Магнусен, ответьте вы!...

Магнусен улыбнулся и развел руками.

— Я человек глубоко сухопутный. И к тому же служил в кавалерии, как вы знаете.

Его насмешливый тон сразу успокоил ее. Она схватила бинокль и посмотрела в ту сторону, куда смотрели все. Ларсен восторженно следил за ее лицом. Тогда Магнусен, убе-

дившись, что невооруженным глазом он ничего не увидит, извинился и неторопливой походкой направился к себе в каюту за биноклем. Он шел, не оборачиваясь, прямой, как столб.

Вероятно, чтобы успокоить встревоженных пассажиров, с верхней рубки не спеша спустился капитан и с нарочитым спокойствием, медленно, точно наслаждаясь солнцем, прошелся по палубе, заложив руки за свою могучую квадратную спину. Он вежливо поклонился старой англичанке с совиным лицом, весело подмигнул коротконогому итальянцу-импресарию, не раз переплывавшему океан на том же «Сплендиде» то с негритянской трупой, то с итальянскими певцами, козырнул банкиру из Чикаго без левого уха и, наконец, подошел к Карен.

Протянув руку в ту сторону, куда тревожно были устремлены все взоры, он густым, жирным голосом, в котором почувствовалось сытное меню только что съеденного ленча, громко сказал:

— Какая красота! Не правда ли?

На зеленой глади океана, слегка покачиваясь, в спокойном, стойком величии плыл огромный кристалл молочно-голубого цвета. Вокруг него, как неотступный нимб, зыбко трепетало в воздухе тонкое кружево из радуг.

Горячее солнце юга закруглило острые грани ледяного кристалла и со всех сторон со стремительной торопливостью ниспадали с него густые тяжелые капли. Но казалось, что они не сразу падали в воду, а сначала — в шаловливом задоре — веселым сверкающим хороводом кружились в воздухе, обвивали солнечные лучи и плавно опускались к воде гигантским павлиньим хвостом.

Феерическая красота подплывавшего айсберга не усыпила, однако, бдительности «Сплендида». Перемигнувшись флажками с шедшими впереди пароходиками, он сделал вдруг крутой поворот и на своей же волне, отбрасывая пенистые гребни, обогнул айсберг.

Магнусен как раз в это время снова появился на палубе. Первым делом он посмотрел на приблизившийся кристалл, но прежде, чем поднес свой бинокль к глазам, со всех

сторон — и сбоку, и снизу — прозвучал восторженный стоустный крик изумления, трещоткой прокатился по воде и резко затих.

Англичанка с совиными глазами застыла, как на молитве. Карен судорожными пальцами ухватила за рукав Ларсена и переводила удивленное лицо на всех тех, кто стоял с ней рядом. Вот теперь эта грешная скромница наглядно являла нежность своего очарования, свою возбуждающую томность, свою пронизывающую остроту... Итальянец-импрессарио заслонился от изумленной улыбки и нервно забарабанил по горлу, как это он делал всегда, когда ему сильно хотелось заполучить какого-нибудь певца, выдающегося боксера или ученую обезьяну... Через приоткрытую дверь буфетной, просунулись два кактуса — две головы негрятят. Их вытаращенные влажные белки, — точь-в-точь четыре крутых яйца, — вот-вот, казалось, выскользнут из шоколадных орбит. Да и Магнусен — тоже. Уж на что он умел отлично подавлять в себе всякое волнение, всякое естественное чувство, но и ему не удалось сдержать свой напускной корсет, — и у него вырвалось:

— Чудесно, чудесно! Вот!..

...В овале синего неба, на верхней грани кристалла у самого края стояла, вытянув морду, огромная белая медведица. От шерсти ее, всклоченной, косматой и блестящей, исходил легкий, прозрачный пар и, казалось, будто медведица медленно плыла среди облаков. Рядом, головой упершись в ее бедро, на задних лапах — совсем как игрушечный — неуклюже сидел медвежонок, зализанный и чистенький.

Когда прошло первое изумление, Карен воскликнула:

— Как это возможно? Белая медведица? На юге? Объясните же, Магнусен! Ведь вы знаете все.

Ларсен ревниво покосился на своего друга и, сразу потеряв восторженную улыбку, поторопился опередить его ответ:

— Вероятно, быстрое течение. Лед не успел растаять. К тому же, температура океана вообще сильно понизилась.

— Прямо с северного полюса?

— А почему бы и нет? — поспешил Ларсен.

— Ну отчего же непременно с полюса? — скептически заметил Магнусен. — Лыдина могла оторваться и с более южного места. С Новой Земли, например.

— Это не меняет дела! — придиричивым тоном подхватил Ларсен.

— Я хочу сказать, — с презрительной усмешкой продолжал Магнусен, — что это южнее, чем полюс. Или еще из Гренландии.

Ларсен пытался было еще что-то возразить, но, внезапно ощутив сердцебиение, отшатнулся, прикусив губу, и замер от промелькнувшего сопоставления: гренландский айсберг и телеграмма Гольма. Так это, значит оно и есть? То самое? Долгожданное?

Впервые подумал об этом. И это еще больше удивило: ни разу не пришло в голову как следует вникнуть в просьбу Гольма и сопоставить ее с тем, что давно уже творится на океане. Ах, черт возьми!

«Это все из-за Магнусена! — сказал он себе. — В его присутствии я положительно глупею».

Но тут вспыхнула и заволновала другая мысль, задорная, мальчишеская — есть чем перебить Магнусену дорогу и выиграть в глазах Карен.

Эта мысль сразу отодвинула в сторону и Гольма, и цель поездки. Ларсен радостно представил себе, как перед сном он заглянет в каюту Карен и, помогая ей раздеваться, начнет осторожно интриговать ее длинной сказочной историей, начало которой положил его предок-флибустьер. И еще представил себе, как она игриво юркнет под одеяло, как она удивится (приподнимется с подушки!), когда он намекнет (только намекнет!), что возлюбленный ее, непризнанный и неоцененный, — один из героев этой сказки. А что может рассказать о себе Магнусен?

---



## VII

— Просить можно о пожертвовании. О любви не просят, — говорила Карен вялым, скучающим тоном.

— Да, я знаю. Любовь приходит сама собой. Без всяких просьб, — уныло отвечал Ларсен.

— Тогда к чему все наши слова?

— Последняя попытка.

— Это достигается не словами.

— А чем?

— Долго рассказывать. И поздно. И, наконец... мне хочется спать.

— Я сейчас уйду. Дело в том, что мне хотелось поделиться с вами своей большой радостью. Но...

— Но я оказалась недостойной ее. Принимаю.

— Нет, я не это хотел сказать.

— Все равно. Так или иначе, но вы раздумали. И, пожалуй, вы правы.

— Да нет же. Вы опять-таки не угадали.

— Может быть, отложим этот разговор до завтра?

— Удивительно! Прямо удивительно, как вы нелюбопытны.

— Не всегда. Впрочем, вы правы. Да, да, я нелюбопытна.

Ларсен вздохнул. Взял со столика корку апельсина и перекусил ее стиснутыми зубами.

— Когда любишь кого-нибудь, естественно, хочешь поделиться с ним своими мыслями, — сказал он, поглаживая ее ноги.

Она недовольно отодвинулась и с досадой заметила:

— Бог ты мой, как вы скучны.

— А могло быть совершенно иначе. Если бы вы хоть немного оказались ласковее. Ну, хотя бы такой, какой вы были с Магнусеном.

— Вы были бы не так скучны?

— Возможно. И даже наверное.

— Скуку носят в себе, мой друг. Магнусен при всяких обстоятельствах не бывает скучен.

— О, разумеется. Магнусен — это непревзойденный образец.

— Вам и ирония не удастся сегодня.

— Спасибо за то, что только сегодня.

За стеной гудели волны. Пароход дрожал.

— Я вижу, вам очень хочется поссориться, Георг.

— Мне? Поверьте, что я пришел сюда с другой целью.

— Ваши цели, скажу откровенно, меня перестали (увы, перестали) занимать. Да у вас и нет никаких целей. Ну, какие же у вас цели?

— Вижу, вижу! Во мне уже ничего нет. Я давно заметил: для вас я пустая посуда, которую пора убрать со стола.

— Если вы это заметили...

— Я это заметил, да. Но еще не значит, что я с этим согласен. И что я сдаюсь.

— Послушайте, Ларсен, — сказала она холодным и четким голосом, слегка приподнимаясь, — не находите ли вы, что наш интересный разговор сильно затянулся?

— Это потому, что вы уже во второй раз не даете мне высказаться.

— Как, вы еще не все сказали?

Она засмеялась, но вспомнив, что ей хочется спать, искусственно зевнула. Ларсен от злости побледнел.

— Нет, я не все еще сказал, — возразил он возмущенным резким тоном. — Но вы действительно не стоите того, чтобы я вам рассказал свою тайну. Вы холодная, бесчувственная эгоистка. И кроме того, ваши мысли уже заняты. Я это отлично вижу.

— Тогда, значит, я не бесчувственная. А что касается вашей тайны, то речь, вероятно, идет о каком-нибудь предприятии. Не хотите ли вы мне рассказать о том, как вы работали на дровах?

— На каких дровах?

— Или на перевозке дров — я уж не знаю. Словом, вы воспользовались наступившими холодами, чтобы повысить цены на дрова? И это ваша тайна?

— Какая чепуха! Уж не Магнусен ли вам насплетничал? Какой вздор! Точно я действительно занимаюсь делами. Для этого у меня немало служащих. Но наступившие холода... Представьте себе: сами того не сознавая, вы близко подошли к моей тайне. Если бы я хотел воспользоваться холодами, я бы скупил все дрова, весь уголь, всю нефть! Потому что я знал об этих холодах еще до того, как они появились. Я единственный знал об этом! Единственный во всем мире! И теперь я тоже единственный во всем мире, потому что только я знаю причину холода, как и причину появления льдов и белой медведицы.

Карен в страхе посмотрела на него: в широко раскрытых скрытых глазах Ларсена веял ветер безумия; в пересохшем горле хрипло клокотала ненависть; у рта легли злобные морщины.

— Отчего же вы не спрашиваете? — закричал он, вскакивая. — Отчего вы не спрашиваете? И это тоже неинтересно? Скучно? Бессодержательно? Говорите же!

Карен ясно почувствовала: еще одно ее слово, колючее, ироническое или просто равнодушное, — и он ударит ее или начнет душить. Она напряглась, как делала это на сцене и, поднявшись с подушки, певучим, мурлыкающим голосом проговорила:

— Вы все это знали? Действительно? Так рассказывайте же скорее. Вместо того, чтобы делать банальные упреки и мальчишески ревновать к Магнусену, надо было прямо начать... Так о чем же вы знали заранее?

Ларсен утрюмо обвел своими волчьими глазами стены и потолок, в пристальной злобе посмотрел на Карен и, не останавливаясь ни на одно мгновение, рассказал ей все.

Он говорил с торопливым ожесточением, извергая из себя горести и восторги, свои и чужие, — в сладкой, неотгнотимой надежде, что рассказ его заставит Карен посмотреть на него иными глазами («А что может рассказать о себе Магнусен?»). Но, чтобы не усложнять своего повествования (а может быть, в эти острые мгновения он и сам о многом позабыл), Ларсен упростил историю зарождения идеи, опустив некоторые отдаленные подробности — те самые, кото-

рые с восторженным шепотом любила ему рассказывать бабушка, — и с увлечением задержался на своем отце и себе.

— Теперь я еду, чтобы завершить работу своих предков, — сказал он в заключение, взвинченный собственными словами. — Там, на Флориде, меня ждут верные преданные люди, для которых я — больше, чем закон. И не пройдет года, как вы услышите, что сказочный план моего великого предка осуществился блистательно. Об этом заговорить весь мир! Весь мир!

От волнения и дрожи у него застучали зубы. Глаза его, устремленные на Карен, недвижно остановились.

— У вас есть случай, — сказал он негромким, но умоляющим голосом, — счастливый случай принять самое близкое участие в событии, которое, не сомневаюсь, войдет в историю. Как вошло в историю открытие Америки. Неужели же вы откажетесь от этого? Вы решаетесь отказаться?

Карен ничего не ответила на это. Блеск удивления, вспыхнувший в ее глазах в самом начале его рассказа, точно застыл. В эти мгновения она походила на ночную птицу, ослепленную внезапным огнем.

Он желчно усмехнулся.

— Моя бабушка рассказывала мне, что ее дед, то есть первый из Ларсенов, положивший всему начало, — вот так же, как и я теперь, ехал по морю, чтобы начать то, что я собираюсь закончить. Всю дорогу он думал только о своем плане. Ни о чем другом. И только одна вещь назойливо отвлекала его от мысли о Гольфстреме. Знаете, что это было? Это было злое, предательское легкомыслие его спутницы, его жены, которая... которая... Ну да, женщины во все времена одинаковы! Какое ей дело до того, что творится в душе ее возлюбленного? И в то время, как его мозг напрягался от решения нечеловеческой задачи, когда его душа... Ну, да что говорить! В это время она уже обдумывала со своим будущим любовником план бегства. Это тоже было на корабле. То же самое. Да, то же самое. По-видимому, у

первого и последнего из Ларсенов одна и та же судьба: успех в замыслах и неудача в любви.

Он жадно глотнул немного воды, хотел было еще что-то сказать, но вдруг ощутил, что его словесное напряжение иссякло. Больше он ничего не мог сказать. Подъем кончился. Ларсен решил, что самое выгодное для него — сейчас же уйти, оставив Карен под впечатлением сказанного.

Он так и сделал: поцеловал ей руку, кивнул головой и стремительно вышел.

А очутившись у себя в каюте и перебрав в памяти произнесенные фразы (некоторые из них даже повторил — так они понравились ему), Ларсен гордо улыбнулся: собственные слова, только что отзвучавшие, неожиданно раскрыли перед ним его самого. Радостно взволнованный, он нашел в себе полновесную героическую значительность, которая тут же позволила ему установить свою непрерываемую связь с предками. Предки в неуклонном фанатизме осуществляли великую идею. Он — тоже, потому что он подлинный, настоящий Ларсен, обуреваемый той же великой идеей. Как сказочный русский богатырь Илья Муромец, он тридцать лет и три года бездействовал, чтобы незаметно для других накоплять в себе силы. И вот...

— Да-с, милая, слепая Карен, — мысленно говорил он с язвительной усмешкой, — ты видела во мне богатого шалопа, оторвавшегося от предков и прожигающего жизнь без цели и задач. Но теперь тебе ясно, что ты проглядела во мне самое важное. Я, Георг Ларсен, достойный наследник великих. И я наперед знаю, что теперь ты не уйдешь от меня. Впрочем, можешь уходить. Пожалуйста! Но опять-таки, я наперед знаю, что ты вернешься. Ибо что такое Магнусен? Чем может тебя удержать этот накрахмаленный пузырь, надменная всезнайка, протухшее яйцо? Ха-ха!

---

## VIII

Тотчас же после того, как Ларсен ушел, Карен, тревожно прислушавшись к его удалявшимся резким шагам, схватила телефонную трубку и попросила соединить себя с Магнусеном.

— Вы еще не спите? — трепетным голосом спросила она его и, не дожидаясь ответа, с четкой взволнованностью прошептала: — Идите сюда. Сейчас же.

Затем она торопливо накинула на себя пеньюар из шелка, взбила матовое золото волос, прикрыла постель и, подойдя к двери, тревожно приложила ухо. Пустынный звонкий коридор доносил из чрева «Сплендида» равномерно-медлительный гул. Пароход уже спал.

От нетерпения Карен стала кусать зубами свой душистый тонкий платок и закрыла глаза. Тишина еще больше заострила ее беспокойство. Так простояла она, затаив дыхание, до тех пор, пока не раздался тихий, несмелый стук. Она быстро приоткрыла; дверь и, с интимной проворностью, от которой у Магнусена дрогнуло в горле, впустила его и бросилась в кресло.

— Ларсен сошел с ума! — шепнула она в ужасе и, молча показав рукой на дверь, испуганно воскликнула:

— На ключ! Я его боюсь!

Удивление скользнуло по тонким губам Магнусена, зигзагом поднялось до бровей и перешло в успокаивающую улыбку.

Она уловила его сомнение и повторила:

— Уверяю вас, он сошел с ума. Если бы вы слышали, о чем он говорил! Бред! Галлюцинации! Какой-то коралловый остров, задерживающий течение Гольфстрема. Тайна, известная только ему одному! Какие-то преданные люди, ожидающие его приказаний. И ко всему этому загробные голоса предков: они требуют повиновения. Мне казалось, что я на спиритическом сеансе. Но он так кричал на меня, что я... Уверяю вас, он сумасшедший! Я положительно растерялась от ужаса. Что нам делать?

Магнусен пожал плечами, медленно опустился в кресло и длительно улыбнулся, как улыбается человек большого жизненного опыта. Слово «нам» приятно пощекотало его.

— Вы все-таки расскажите по порядку, — сказал он, искоса поглядывая в створчатое зеркало. Оно дважды отразило его худощавое, бритое, энергичное лицо, его осанку кавалерийского офицера и, наконец, его плюшевый однобортный пиджак. Осмотрев самого себя, Магнусен бросил осторожный взгляд на мягкий пеньюар Карен, пытаясь предоставить себе ее наготу.

— Ну, что же вам еще оказать? Говорю же вам: это был бред. И кроме того, угрозы. Я была так ошеломлена, что не успела хорошенько вникнуть в его слова. И еще он мне что-то рассказывал о своей бабушке, которая посвятила всю свою жизнь этому непонятному коралловому острову. И каким-то образом это связано со льдинами, плавающими теперь по океану. Словом, вздор! Ничего нельзя было понять. Нет, нет, он несомненно рехнулся.

Магнусен поднял голову, прищурил глаза, точно вызывая далекие образы, и сделал отрицательный жест,

— А вы знаете, — сказал он, немного подумав. — Его бабушка действительно была не совсем обыкновенная женщина. Я ее помню. Она жила очень замкнуто. Говорили, что она увлекается потусторонними силами и что на полуострове Флорида она выстроила какой-то таинственный храм.

Карен воскликнула:

— Да, да, он мне тоже упомянул о Флориде. Будто там находятся преданные и верные ему люди. Они же и ждут его.

Магнусен продолжал:

— На меня, однако, она не производила впечатления сумасбродки. Это была крепкая, деловая и властная женщина. По крайней мере, она отлично вела свои дела, и своего сына, отца Георга, держала, как говорят кавалеристы, на мундштуках.

— Так что же вы предполагаете? — с капризным разочарованием спросила Карен.

Магнусен помолчал, недоуменно вытянул губы и осторожно, чтобы не раздражать Карен, ответил:

— Я думаю, что в словах Ларсена есть какая-то правда. Он, конечно, расхвастался немного, — в конце концов, он мальчишка! — но что-то есть. И теперь я припоминаю: однажды, в минуту откровенности, он сказал, что у него имеются серьезные обязательства перед предками. Так и сказал: «перед предками». Я тогда уже задумался над его словами: о каких обязательствах может идти речь? Ведь не наследник же он престола! Что касается Флориды, где его кто-то ожидает, я думаю, что это верно. Ведь мы тоже едем в эти места. Остров св. Фомы — это не так уж далеко от Флориды.

— Какая-то фантастика! — огорченно заметила Карен. — Все это не укладывается в моем мозгу. И я простить себе не могу, что согласилась на это дурацкое путешествие.

Магнусен спросил:

— А что он говорил о пловучих льдах?

Она широко раскрыла глаза. В них явно отражалось возмущение.

— Вы, я вижу, серьезно относитесь к этому вздору? Вы стараетесь серьезно вникнуть в его безумную болтовню? Ведь это был бред сумасшедшего или пьяного человека. О чем он говорил? Да, будто коралловый остров предназначен для того, чтобы отвести Гольфстрем. И что остров уже поднялся.

— То есть как это поднялся?

— Ах, Боже мой, точно я знаю! Я только могу повторить его слова: остров поднялся, вырос. Поэтому и льдины появились. А подробностей, уж пожалуйста, не требуйте от меня. Я ничего не поняла. Да и никто бы ничего не понял. Потому что в лучшем случае это неудачный сценарий для фильма. Я знаю только одно. Я никогда ни перед кем не робею. Никогда. Но сумасшедших я боюсь смертельно.

Магнусен покачал головой.

— Нет, он не сумасшедший.

— Тогда, значит, я сама помешалась, — обидчиво сказала Карен и от досады задвигала бедрами.



— И это не так, — спокойно и серьезно заметил Магнусен. — Вы просто не хотите придавать значения его словам. И вы не разобрались в них.

— А вы?

— Я... кое-что приходит мне в голову. Мне только не хватает некоторых подробностей. Я, например, не понимаю, что значит «остров вырос». Как это понять?

Она пожала плечами и резко бросила:

— Перестаньте! Я не могу слышать вашего серьезного отношения к его дикой болтовне. Еще немного, — и я подумаю, что вы в заговоре с ним.

Магнусен засмеялся, взял ее за руку у самого локтя и восхищенно сказал:

— Вы обворожительны; в своей непосредственности. Я с ним в заговоре? Уж если возможен заговор, то я предпочел бы иметь своим сообщником вас, а не его.

— Мне не до шуток, Магнусен. И вдобавок, уже второй час. Вы лучше скажите, что нам делать?

— Прежде всего, вы успокойтесь. Во-вторых, что мы можем предпринять среди океана? Ровно ничего. В-третьих, станьте Далилой и выведайте у хвастливого Самсона его тайну. До конца узнайте. Тогда нам будет ясно, с кем мы имеем дело.

Карен скрестила свои полуобнаженные руки, задумалась и недовольно сказала:

— Я боюсь, что не выдержу своей роли. Ведь надо будет изобразить любопытство и восторг. Я этого не смогу. И уверяю вас, что все это лишнее. Он просто сошел с ума от ревности и бессилия.

— От ревности? К кому же?

— К тому, кто умнее его и сдержаннее. И он прав: я его действительно возненавидела. А сейчас, когда от него никуда нельзя укрыться, я его положительно боюсь. Вот увидите: он задушит меня.

Магнусен встал и приблизился к Карен. В глазах его загорелись живые, бегающие огоньки.

— Ничего, — сказал он глуховатым, но нежным голосом. — Положитесь на меня. Я никому не дам вас в обиду.

И, нагнувшись, он жарко поцеловал ее в плечо, которое — он это ясно почувствовал — слегка вздрогнуло, поднялось и задержалось у его губ.

— Я ненавижу этого мальчишку! — с яростью пробормотала она. — И я бы много дала, чтобы хорошенько его наказать.

Магнусен лукаво, очень лукаво, повел бровями и с холодной жесткостью сказал:

— Самый лучший кнут для лошади — это тот, который сделан из лошадиной кожи. Как вы полагаете?

Карен вопросительно посмотрела на него, подумала немного и, усмехнувшись, пушистыми ресницами, смущенно произнесла:

— Остроумие никогда не покидает вас. Вы умница. За это я вас и люблю.

После этого Магнусену совсем нетрудно было разрядить все ее возбуждение, гнев и страх одиночества, которые в умелых руках легко превращаются в доверчивую, покорную и безмолвную страсть.

## IX

Размякший Самсон поддался сразу. Изумленно-восторженные глаза Далилы, в которых он увидел свое величие, в полчаса исторгли из него все то, что он узнавал годами. Не вдумываясь в его слова, она старалась лишь запомнить все им сказанное, чтобы передать затем Магнусену, который, расставшись с ней под утро, обронил загадочную фразу:

— Если это действительно так, Георг совершил величайшую гадость.

Сонная, уставшая, она не успела расспросить Магнусена, в чем дело, и теперь, разъедаемая любопытством, торопилась беседу с Георгом как можно скорее закончить.

Но исповедавшийся Самсон ни за что не хотел, уходить. На спуская обожающе-ненасытных глаз с утренне свежей и бесстыдно-стыдливой Карен, он ждал ее ответных

излияний и патетической нежности: женщина узнала о своем возлюбленном такие необычайные вещи, приподнимающие его до высоты героя — и остается спокойной?

Бессильная усмешка пробежала у него под глазами и быстро схлынула с лица, оставив под собой мертвенную бледность. В другое время он обиделся бы надолго, на два-три дня, но теперь он никак не мог покинуть Карен: поместив в ней свою тайну, он ревниво оберегал вместилище этой тайны, вздыхающий и молчаливый.

Карен нервничала. Будь это на суше, — где угодно! — она бы легко придумала способ отделаться от его назойливого присутствия, но что сделаешь на пароходе, посреди океана!

— Выйдите, я переоденусь.

Он часто бывал при том, как она одевалась, и неизменно любовался ее упругим, зазывающим телом. Поэтому он сказал:

— От меня у вас нет тайн.

Карен строго сдвинула свои бархатные тесемки над глазами и отчеканила по-театральному:

— Раз я прошу, значит надо, чтобы вы ушли.

Он тяжело, неохотно поднялся и, хмурый, злой, вышел из каюты и стал за дверью.

Через замочную скважину Карен увидела, что он стоит в коридоре и громко начала полоскаться в воде.

Георг с обиженным лицом потоптался на месте и раздраженно крикнул:

— Я буду ждать вас в курительной комнате.

Тогда Карен, быстро набросив на себя платье, выбежала из каюты и бросилась искать Магнусена, дрожа от волнения, любопытства, а больше всего от опасения, что не найдет его.

Поиски продолжались около получаса. Она побывала на променадендеке, где бесшумно толпились пассажиры, часами высматривавшие горизонты, — не покажется ли еще один айсберг. Магнусена здесь не оказалось. Затем Карен спустилась на корму; тут дети и старики следили за логом — шустрой веселой змейкой, которая, извиваясь, догоняла

пароход и тем самым отбивала счет пройденным узлам. Меланхолически тусклые глаза стариков, вероятно, усматривали в этом движении неумолимый бег уходящего времени. Магнусена не было и здесь.

Нервничая и кусая губы, Карен вернулась внутрь парохода и стремительно обошла гулкие коридоры всех этажей. В одном месте навстречу ей попался хорошенький лифтбой. Занятая мыслями о Магнусене, она все же нашла время улыбнуться этому подростку. Он заметил это, испуганно захлопал веками и замедлил шаги. Когда же они поравнялись, он смущенно прижался к стене, жадно вдохнул в себя пробегающий запах духов и вдруг замер, устремив свои большие темные глаза в вздрагивающие бедра Карен. Лицо его вытянулось и побелело. Голова поникла. Через одно мгновение густая краска залила ему щеки и уши. Он встрепенулся и бросился бежать, точно стыдясь самого себя и своих необычайных и странных мыслей. Карен, успевшая заметить смущение мальчика, лукаво улыбалась, чувствуя позади себя его пристальный взгляд. Но на этот раз она улыбалась самой себе.

Как раз в это время она увидела Магнусена. Он выходил из большого зала, где занимались гимнастикой. Карен быстро побежала к нему и, не подавая руки, не здороваясь, стала вполголоса, интимной скороговоркой, передавать ему подробности своей дополнительной беседы с Георгом.

Магнусен слушал ее с напряжением, особенно когда до него долетали брызги ее растрепанных, незаконченных фраз, щурил глаза, сухо улыбался и несколько раз потрогал кончики туго накрахмаленного воротника. Когда все ему было передано, он с жесткой усмешкой обронил свою краткую резолюцию:

— Какая подлость! Предать Европу!

Карен неприязненно поморщилась. Слово «Европа» вызвало в ее представлении передовую статью из газеты. Это сразу определило в ее глазах тему предстоящего разговора с Магнусеном как скучную, ненужную, и она нетерпеливо всплеснула руками.

— Оставим Европу в покое! — с досадой воскликнула Карен. — Мне сейчас не до Европы. Я думаю о том, как нам избавиться от сумасшедшего.

— Это касается и Норвегии, — улыбнувшись, сказал Магнусен.

— Норвегии? При чем здесь Норвегия?

Молчаливая, снисходительная улыбка Магнусена, его сдвинутые брови, его спокойствие привели Карен в замешательство. Судьбы Европы ее меньше всего, понятно, интересовали. Но Норвегия... Норвегия — это другое дело: это родина.

— При чем здесь Норвегия? Право, мне начинает казаться, что у вас тоже...

— Что я тоже сумасшедший? Нет, дорогая Карен, я в здравом уме. Я только немного взволнован неожиданным даром нынешней ночи.

Карен, отмахиваясь от его слов, нетерпеливо спросила:

— Но все-таки, при чем же здесь Норвегия?

Он стал объяснять: отвод Голфстрема к Гренландии несомненно заморозит побережье северной Норвегии; вот отчего с севера хлынули на юг лопари; вот отчего вздорожали дрова.

— Само собой разумеется, — с высокомерной гримасой закончил Магнусен, — Георг прихвастнул, приписывая это гигантское дело только себе. Сидя безотлучно в Копенгагене, по-моему, он вообще ничего не делал. Должно быть, существует компания, и скорее всего американская, которая и осуществляет этот старый, несколько фантастический проект. Георг же, вероятно, состоит одним из самых маленьких пайщиков: денег у него ведь не так уж много. Это очень возможно. И я бы решительно ничего не возражал против осуществления его идеи (она сама по себе мне даже нравится), если бы тут не было предательства: Георг, отводя Гольфстрем, предает Европу.

Карен слушала Магнусена с нарастающим ужасом, от которого рот ее стал круглым.

— Так значит, вы на самом деле считаете все это правдой?! — заговорщицким шепотом спросила она, впиваясь в

него глазами.

— Да, — ответил он спокойно. — Мы, вероятно, и едем по этому делу. Должно быть, предстоит собрание акционеров. Ради этого он и помчался. Дело, очевидно, близится к концу. Таким образом, и мы с вами до некоторой степени являемся участниками предательства: я помогаю предавать Европу, вы — Норвегию.

— Глупости! — резко бросила Карен и задвигала бедрами. — Вы меня просто дурачите.

Магнусен нервно потрогал кончики воротника и серьезно заметил, разглядывая свои посиневшие ногти:

— Я говорю то, что думаю. И полагаю, что несколько не ошибаюсь.

Карен растерянно оглянулась, сжала пальцы и негодуя воскликнула:

— Эта дурацкая история мне надоеда. Нет, так или иначе, но я немедленно возвращаюсь!

Магнусен тускло улыбнулся..

— Если позволите, с вами возвращаюсь и я. Но для этого надо, во-первых, сначала доехать до Пернамбуко, а во-вторых, не дать Георгу догадаться о вашем решении. Иначе он последует за вами. А пока что советую вам скрыть свое негодование, немного подпудрить лицо и пойти позавтракать. И лучше всего, чтобы не возбуждать у ревнивца никаких подозрений, мы отправимся не вместе. Завтрак сегодня отличный: лангуст, трюфели, инд...

Гонг и фанфары, возвещая о втором завтраке, заглушили сообщенное им меню.

## Х

Рейд в Пернамбуко как был неудобным, так, вероятно, останется неудобным навсегда — без соответствующих сооружений и без пристаней. Раз тридцать серьезно поговаривали о том, чтобы привести этот важный порт восточной Бразилии в надлежащий вид, но все планы и проекты

растворялись в косности и лени болтливых бразилейро, больше доверяющих природе, чем творчеству человека.

Рейд отстоит от желто-зеленого города в шести километрах. Когда приходит пароход, пассажиров выгружают на баржи и, не спеша, везут их в город. Время не ценится. Зной убивает волю. Разгрузка тянется долго. Прибывший европеец бесится, негодует и извлекает из своей памяти все ругательные слова.

Так было и с Георгом Ларсеном. Его настроение ухудшилось еще тем, что за все неудобства пернамбукской гавани пришлось отвечать ему, да еще перед Карен. Вдобавок, хлынул внезапный дождь. Разгрузка приостановилась. Магнусен узнал, что отели в городе отвратительны. Сам город грязный. Карен неистовствовала, ругалась и, вся пунцовая от негодования, заперлась у себя в кабине, заявив, что возвращается обратно в Европу. Тогда Магнусен осторожно и мягко предложил. Георгу съездить в город, подыскать помещение если не в отеле, то где-нибудь в частном доме и затем приехать за ними. На этом и порешили. Георг ревниво побряхтел и уехал.

Так Магнусен, сухопутный офицер, впервые проявил свои стратегические способности в открытом море, потому что поездка Георга была им заранее предусмотрена. Предполагалось, что вслед за Георгом поедут и они оба и останутся в каком-нибудь незаметном отеле в ожидании ближайшего парохода, отходящего обратно в Лиссабон. Но этого не пришлось сделать: в расстоянии 120 футов от них, тяжело отдуваясь и дрожа, грузно распластался на воде другой пароход того же общества, через два часа отплывавший в Европу. Свободных мест оказалось много. Магнусен распорядился перетащить вещи, и когда Георг возвратился на «Сплендид» — никого уже не было.

В первое мгновение он не сообразил, что произошло, и снова помчался в город, предполагая, что, не дождавшись его возвращения, они отправились вслед за ним. Георг побывал во всех близлежащих отелях, снова вернулся на «Сплендид», распираемый злостью, негодованием и острой ревностью. Краткая беседа с коридорным боем, а затем со

стюардом установила перед ним оскорбительную ясность: Карен и Магнусен удрали. Чтобы разрядить свою бешеную ярость, он тут же на пароходе составил радио, предназначенное для отправки Магнусену. Радио, однако, не приняло: телеграфист случайно знал по-датски и отказался передавать телеграмму, состоящую из ругательных слов.

Георг до крови прикусил губы (этому негодяю и тут везет, даже выругать его нельзя) и после минутной досады придумал новый текст такого же содержания. Затем, разделив его на две части, он отправил свое послание в два приема: одну телеграмму отнес сам, другую, несколько минут спустя, отослал через смокингрум-боя. В первой части было сказано: «Видел много ослов». Вторая телеграмма продолжала эту фразу: «Таких, как ты, не встречал».

Синие огоньки с верхушки мачты унесли вдогонку за ушедшим пароходом всего только каплю ярости и отчаяния. Все остальное засело глубоко, давило, мучило, пресекало дыхание. Догнать их? Ближайший пароход отходил через четыре дня. Георг взял вещи и поехал в город.

Плывя в большой, широкобедрой лодке, он тупо смотрел на воду, только что освеженную тропическим ливнем, и ясно чувствовал, что есть в мире радость, солнце и сердечная теплота, — но для него они недоступны. Какие-то счастливыцы ловко завладели этим счастьем, неудачникам же осталось одиночество, беспокойная суeta и еще чувство долга, отягчающее жизнь. При мысли о долге вспомнился Свен Гольм, и представился он в виде волоска, который попал за воротник и назойливо раздражает.

Вдруг сбоку, в озарении вечернего солнца, показался треугольник, похожий на загрязненное стекло и быстро рассекавший воду параллельно лодке, точно стараясь обогнать ее.

Георг стал всматриваться. Один из лодочников протянул руку — пять морковок вместо пальцев — и, указывая одной из морковок, сказал:

— Тибурон.

Другой, скосив глаза в сторону пассажиров, перевел по-английски:



— Акула.

Георг с жутким любопытством посмотрел на плавник акулы и презрительно подумал: «Магнусен!»

И снова его охватили досада, злость, отчаяние, в совокупности своей вылившиеся в бессильную тоску.

Ему стало несколько легче только тогда, когда вечером в отеле он точно узнал, что постоянных рейсов между Антильскими островами и Пернамбуко не существует и что надо дожидаться парохода, идущего из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк. Сведущие же люди к этому добавляли, что придется ждать не меньше двух недель, так как из-за айсбергов аргентинские пароходы не отваживаются часто подниматься на север. Георг решил: сами обстоятельства против его свидания со Свеном, поэтому он может со спокойной совестью пуститься вдогонку за Карен.

После этого он отправил подробную телеграмму, в которой извещал его о своем прибытии в Пернамбуко, но что его экстренно вызывают обратно в Копенгаген, между тем как ближайший пароход на Антильские острова отходит не раньше, чем через две недели. Предоставляя Свену полную свободу действий, Георг заранее одобрял все его решения.

Тягостное беспокойство схлынуло. Но зато потянулась досаждающая скука, перемежающаяся нетерпением, припадками ревности и той апатией, которая вызывается тропическим зноем.

На другой день перед вечером, чтобы развлечься немного, Георг стал играть с маркером на бильярде. Он уже проиграл ему вторую партию, как вдруг подошел официант и почтительно доложил, что его зовут к телефону.

— Вы меня с кем-то спутали, — хмуро сказал Георг и отвернулся.

— Нет, сеньор, именно вас.

Георг рассердился.

— Никто не может меня вызывать к телефону. У меня здесь нет никаких знакомых.

— Однако же... просят именно вас.

Георг замер от удивления. Вспыхнула и зажглась светлая догадка: уж не Магнусен ли это? не эффектный ли это жест с его стороны — Карен отправить, а самому остаться? а может быть, оба здесь?

Он бросился в телефонную будку.

Глухим, невнятным и ржавым голосом кто-то отрывисто твердил издалека:

— Ты должен приехать. Никакие отговорки не допустимы. Надо решить одну вещь. Очень важную.

Георг надрываясь кричал:

— Кто говорит? Кто у телефона? Кто говорит?

Хриплый, кашляющий глухой бас, точно из далекого подземелья, замогильно тянул:

— То, чего ждали твои предки — предки, говорю я, — уже близко. Время не терпит. Потом будет поздно. Будет поздно, говорю я.

В телефонной будке было душно, как в аду. Обливаясь потом, Георг раздраженно кричал:

— Кто это говорит? Что за глупая мистификация?

В трубке шипело, царапало, кашляло, клекотало. И опять донеслось сдавленно, тягуче:

— Ты должен приехать. Должен! Не я на этом настаиваю. Предки твои приказывают тебе! Ты позоришь своих предков.

— Что за вздор! — кричал Георг. — Это ты, Магнусен, позволяешь себе говорить от имени моих предков? Глупо. Очень глупо!

А сам трепетал от радости: «Магнусен здесь. Магнусен не поехал, мои предположения ошибочны. Карен не такая, как я думал о ней!»

Снова зашипела трубка и послышалось отчаяние:

— Это я, Свен Гольм. Неужели же ты не мог догадаться, кто говорит? Кто другой, как не я, может об этом говорить с тобой? Нехорошо, Георг! У тебя на уме какие-то другие посторонние мысли. Приезжай немедленно. Надо решить одну важную вещь. Совместно решить. Время не терпит.

Георг смутился и онемел от разочарования: всего только Свен Гольм! Он поморщился и вздохнул.

Оправившись от смущения, он заговорил умоляюще:

— Дорогой Свен! Вы же видите, я переплыл океан. Значит, я имел твердое намерение побывать у вас. Но я не могу. Не могу! Меня вызывают обратно. Обратно в Европу! Вы меня хорошо слышите? Так вот. Я думаю, вы легко обойдетесь без меня. Зачем я вам? Вы ведь лучше меня знаете, что надо делать. Не правда ли, Свен?

— Твой приезд необходим, — упрямо хрипел старик. — Надо решить совместно. Совместно, говорю я, надо решить. Ты же Ларсен. Или, может быть, ты перестал быть Ларсеном?

— Но я же говорю вам, — раздраженно возражал Георг, — не могу приехать. Мне надо обратно в Европу. Меня экстренно зовут! Делайте все без меня. Я на все согласен.

— Ты позоришь своих предков! — не унимался старик.

— Не говорите глупостей! — злился Георг. — И перестаньте упрямиться. Вы лучше меня знаете, чего хотели мои предки. Гораздо лучше! Я заранее соглашаюсь на все. Мне надо возвращаться в Европу.

— Европа может подождать. Она никуда не убежит, — злобно рычал старик. — А здесь может случиться несчастье. Ты слышишь меня? Я говорю: может случиться несчастье, катастрофа. Все погибнет.

— Я... не... мо... гу! — теряя всякое терпение, заорал Георг.

В трубке снова зашипело, заклокотало, точно кто-то отхаркивался, и, когда прочистилось, послышалось совершенно ясно и отчетливо:

— Тогда я вот что тебе скажу, Георг Ларсен. Мое последнее слово: ты — курица, которую впрягли в телегу. Не тебе ее сдвинуть с места. Прощай!

На другое утро, проснувшись, Георг долго раздумывал над этим диалогом, стараясь вспомнить, действительно ли он говорил со Свеном или же это была беседа во сне со своей совестью.

---

## XI

Ялмар торопливо, задыхаясь от кашля, побежал в пульперию за коньяком, а старик неподвижно оставался в плетеном кресле. Далекое путешествие — в Вашингтон и обратно — сильно утомило его. Да и огорчило тоже. Надо было хорошенько встряхнуть себя возбуждающим напитком, то есть подбросить немного углей в печь, как любил говорить бывший кочегар Ялмар.

Следует сказать, что в последнее время старик окончательно перестал пить (оттого в доме не нашлось ни одной капли), чтобы отвоевать у судьбы хотя бы еще один год. А до этого пил он безудержно, непрерывно — пятнадцать лет подряд, в мрачном восторге опустошая бутылки (на это имелись свои причины). Был он когда-то красив, строен, даже изящен в своей капитанской форме, но спиртные напитки, а пожалуй, и горести всякие, достаточно разрыхлили его лицо, согнули его фигуру и вытравили в нем вкус к жизни.

Правда, и лета сказывались: 72 года. Но все-таки, если бы не одинокая холостая жизнь и не колониальная грубость, сбивающая с человека все человеческое, был бы он и по-сейчас красавцем. А то извольте-ка: облезлый, неуклюжий гигант с длинными, как у обезьяны, руками, крупные кисти которых свисали, как гири. Когда он клал их на стол и слегка шевелил кривыми, вспухшими пальцами, отчетливо казалось, будто на столе лежат два живых краба и лениво копошатся.

Эти крабы лежали и сейчас, но они не шевелились. Старик как бы оцепенел. Его влажные дальнорзоркие глаза пригвоздились к какой-то далекой точке в саду, через окно. Разинутый рот резко отвис. Ясно было всякому: стариком овладела напряженная, прямая, безысходная мысль, перешагнувшая отчаяние. По крайней мере, время от времени эта мысль искажала его бурое, обветренное лицо последней смертельной судорогой.

Тяжело дыша, пришел Ялмар. Шумно поставил на стол бутылку, проворно достал из шкапчика большую рюмку и прежде, чем наполнил ее коньяком, старик уже протянул за ней руку. Затем громко икнуло стариновское горло, тихо закрипело кресло и пустая рюмка, описав дугу, звучно прикоснулась к бутылке. Только тогда старик вяло посмотрел на Ялмара и, указывая на шкапчик, где стояла посуда, хмуро сказал:

— Возьми и себе.

Ялмару давно уже хотелось задать старику несколько вопросов и прежде всего самый важный из них — удалось ли чего-нибудь добиться? — но не решался. Опрокинув в себя рюмку, он быстро отодвинул ее и выжидающе опустил голову на сложенные руки.

— Ничего не вышло, — уныло сказал старик. — Я это знал. Я это заранее знал.

И, помолчав, прибавил, опуская вниз свои фиолетовые веки:

— Должно быть, меня там приняли за сумасшедшего.

— Вы с кем же разговаривали? — с робким любопытством спросил Ялмар и нетерпеливо поддался вперед.

Старик махнул рукой и с нескрываемой усмешкой уныло ответил:

— С каким-то юнцом. Должно быть, секретарь. Он все настаивал на том, чтобы я ему подробно рассказал, в чем дело. Я ему и говорю: речь идет о нашей родине, мне кое-что известно такое, что для нее очень важно, и я могу об этом сообщить только самому посланнику.

Ялмар осторожно заметил:

— Может быть, действительно, следовало бы ему рассказать. Он убедился бы...

Старик сердито хлопнул рукой по столу.

— Я не маленький, — хриплым клокотавшим голосом закричал он. — Нечего меня учить. Я об этом сам подумал. Но я видел, с кем имею дело: это был мальчишка, умеющий шаркать ногами в гостиных. И вдобавок, я ему был противен. Он смотрел на меня с гадливостью. С отвращением он на меня смотрел. Как смотрят на кусок тухлого

мяса. Я это видел. По его глазам. По его губам я это видел. Он все равно отнесся бы ко мне с презрением. Оттого я и хотел, чтобы в Вашингтон поехал тот. Его бы, разумеется, приняли. С ним бы говорили. Его бы выслушали до конца.

— Ну, само собой разумеется! — злобно подхватил Ялмар и облизнул сухие запекшиеся губы. — Он у них свой, они друг к другу внимательны.

Старик недовольно отмахнулся от этих слов:

— Дело не в этом. Не в этом, я говорю, дело. Ты все свое. Дело в том, что я стар как черт. Что я разучился как следует говорить. И что я... потерял уже облик человеческий... Что верно, то верно. Да. Лет пятнадцать, двадцать назад они бы и меня выслушали до конца. А теперь... Ничего не поделаешь. Я старый хлам.

Ялмар упрямо покачал отрицательно головой, но возражать не решался. Он только спросил:

— Что же будет дальше?

— Будет катастрофа, — прошептал старик и, возвысив голос, продолжал: — Я уж вижу, что будет. Без договора с Соединенными Штатами нам несдобровать. Через год, а может быть, еще в этом году, когда пройдут айсберги, — все раскроется. Ясно будет всякому, в чем дело. И тогда вся Европа заговорит. А если бы были здесь два хозяина — Дания и Соединенные Штаты, — никто не посмел бы сунуться сюда. Ни одна собака.

Ялмар тихо кашлянул и несмело предложил:

— Может быть, так сделать — прямо переговорить с Соединенными Штатами, минуя наших? Делу это не помешает нисколько. Пусть хозяином будет Америка. Не все ли равно? Лишь бы только уцелело.

— Я никогда не был изменником, — укоризненно сказал старик, хмуро наполняя рюмку. — И никогда не буду им. Кто додумался до всего этого? Датчане. Кто оберегал это великое дело? Датчане. Кто был ему предан? Датчане. И значит, все это должно принадлежать Дании. Чтобы я отдал все это другой стране?

— Надо сохранить его.

— Не говори чепухи! Да и где гарантия того, что эти будут любезней? Они тоже не захотят со мной разговаривать!

— Тогда следовало бы написать обо всем в Копенгаген. Пусть задумается над этим.

Старик протяжно вздохнул.

— Я уж думал об этом. Но ты же видишь: голова у него набита чем-то другим. Ему и горя мало. Пересек океан, добрался до Пернамбуко и раздумал. Прочтет он мое письмо и выбросит в мусорный ящик. В мусорный ящик выбросит он мое письмо. Оттого я и хотел, чтобы он приехал сюда. Тут бы я на него тяжело насел. Тут бы я держался своего крепко, как на якоре.

Горящими недобрыми глазами посмотрел Ялмар на старика и язвительно звенящим голосом, задыхаясь, злобно сказал:

— Вы, капитан, не хотите со мной согласиться, а по-моему, я прав: они все сволочи. Все до единого. От прежних поколений они унаследовали, кроме золота, еще и разные идеи, замечательные идеи, но не умеют их ценить и беречь. Поэтому я и говорю: мы должны отнять у них эти идеи и без всяких разговоров забрать их себе. Мы-то уж будем их как следует ценить и как следует беречь. Да.

— Слышал я это от тебя не раз, — раздраженно сказал старик. — Но сейчас твои слова к делу не относятся. Опять на тебя напало старое бешенство, и тебе хочется разнести весь мир. Весь мир хочется переделать. Это горит в тебе чухотка.

— Я их всегда ненавидел, — тупо сказал Ялмар. — Еще до того, как у меня пропало мое легкое. Я только ненавидел их не за то, что они бездельники и слишком богаты, а за то, что каждый из нашей среды для них не человек. Вот ведь не хотели разговаривать с вами, капитан. Почему? А потому что вы не из их породы. Вы чужой.

Старик презрительно топнул ногой и резко схватился за рюмку.

— Со мной когда-то разговаривали люди, которые были нисколько не хуже посланника, — сказал он. — Еще как

разговаривали!

Ялмар отвел в сторону сумрачно-злые глаза, почесал реденькие волосы на макушке и вдруг задрожал от страха за то, что собирается сейчас сказать.

— Где это я читал? — спросил он, как бы думая вслух. — В Библии, что ли? Ну да, в Библии. Как это звали служанку Авраама? Агарь? Когда она была нужна им обоим, мужу и жене, они ее держали у себя. А когда она стала им ненужной, они ее выгнали. Вот вам! В пустыню выгнали. Как собаку!

Старик удивленно поднял лицо:

— Что ты этим хочешь сказать?

— Может быть, это и неверно, капитан, — смущенно продолжал Ялмар, в волнении глотая воздух, — но я говорю, что вас сюда тоже вроде того, как сослали: чтобы вы не зазнавались. Вот вам и награда!

Старик встрепнулся.

— Придержи свой глупый и злой язык! — хрипло перебил он Ялмара. — Много ты понимаешь.. Меня сослали! Я сам сюда приехал. Я хотел быть поближе к делу, которое я... Впрочем, ты все это говоришь для того, чтобы поссорить меня с моими хозяевами. Поздно, парень. Они уже давно в земле. И не тебе быть судьей в нашем деле. А что касается меня, то я ничего плохого не могу сказать о людях, у которых всю жизнь служил. Злой ты человек. Ты ненавидишь даже мертвецов.

— Да, ненавижу, — сказал Ялмар, приподнимаясь. — И еще ненавижу того раба, который целует плетку своего хозяина. Если бы не собачья преданность этих самых рабов, весь мир давно был бы другим.

— Убирайся вон! — яростно закричал старик и тоже приподнялся.

Ялмар отскочил к стенке, хотел еще что-то сказать, но закашлялся и схватился растопыренными пальцами за грудь. Кашлял он долго, тяжело, круто сгибая спину и кончил кашлять только тогда, когда на губах показались у него темные сгустки крови.



— Ты своей злостью сократил себе жизнь, — участливо сказал старик и взял его за руку. — Иди, приляг. Я сам приготовлю обед. Ступай.

За окном в саду трещали и бесновались птицы, ошалело и страстно звенели насекомые. Старик, устало шаркая ногами, подошел к окну и, высунувшись наполовину, стал прислушиваться к веселому трепету — в кустах, в деревьях и на выжженной земле. Трепет был такой же неугомонный и радостно непреходящий, каким был вчера и много лет назад, когда старик появился здесь впервые.

— Неужели же, — сказал он самому себе вслух, — мне и Ялмару не придут на смену другие? Должны прийти. Не может быть иначе!

## ХП

Шум вагонных колес еще не успел затихнуть в ушах, а Георг уже мчался на квартиру к Карен, задыхаясь от ревнивого любопытства, нетерпения и путаницы в предположениях. Мучительно хотелось наметить первые слова предстоящего разговора и вообразить реплики Карен, но хаос безудержного диалога затопил все. Единственное, что ясно уцелело в сознании — это чувство невытравимого негодования и жажда отомстить. Не Карен, нет! Что с нее взять, когда она органически не выносила любви в четырех стенах! Отомстить Магнусену! За предательство, за подлость, за воровство среди бела дня! Дуэль? К черту! Слишком много чести для него — драться с ним на дуэли. Просто избить его в присутствии Карен и в заключение плюнуть ему в рожу. А в случае чего пальнуть из браунинга.

Ощупал оружие в кармане брюк и одновременно увидел, что автомобиль остановился.

Быстро взбежал на второй этаж. Сильное сердцебиение отпечаталось двумя резкими звонками. Пока послышались шаги, воображение обскакало пять комнат квартиры, все уголки, всех людей — саму хозяйку, двух горничных. А

вот и одна из них.

— Дома?

Белобрысая Тереза, приложив ладонь к шее, удивленно пропела:

— Каким образом?

Однако, смутившись проявленного удивления, поправи-  
лась холодным — «нет».

— Но ведь возвратилась же она из Америки?

— О, да, конечно. Но уже успела уехать.

— Куда?

Глупо было выдавать горничной свою неосведомлен-  
ность, но теперь было не до того.

— Не знаю. Мне она ничего не сказала.

— Тереза! Я вас прошу. Ведь все равно узнаю. Скажите  
правду, где она?

— Уверяю вас: мне ничего не известно.

— Может быть, она там, в Клампенборге, в вилле?

— Вряд ли. Она бы взяла с собой вещи. Ведь там ничего  
нет. Ни одной подушки, ни одной платяной щетки. Нако-  
нец, она позвонила бы оттуда.

— А разве она ничего с собой не взяла?

— Взяла, но немного.

— Тереза, вы безусловно знаете. Я вас очень прошу: ска-  
жите мне правду.

— Честное слово, я ничего не знаю.

— Она вас просила ничего не говорить?

— Да нет же. Она просто ничего не сказала. Впрочем...  
ну да: через несколько дней вернется. И это все. Она очень  
торопилась.

Георг круто повернулся, выбежал, быстро спустился по  
лестнице, но вдруг замер и, покусав губы, снова очутился у  
двери и снова позвонил.

— Магнусен здесь был?

— Нет.

— И вообще никто не заходил?

— Я же говорю: она очень спешила. Она пробыла в до-  
ме не больше двух часов. Приняла ванну, переделалась — и  
все.

Просящим, умоляющим тоном Георг сказал:

— Тереза, я не из праздного любопытства. А совершенно по другой причине. У меня серьезнейшее к ней дело. Я вас очень прошу хотя бы сообщить мне: она говорила с Магнусеном по телефону?

Тереза прислушалась, не идет ли кто-нибудь, и тихо ответила:

— Говорила.

— О чем именно, не слышали?

Тереза пожала плечами. Георг задумался.

— А когда это было?

— Во вторник.

— Сегодня у нас что — четверг? Значит, уже три дня. дня.

— Да.

Георг нахмурил брови и вздохнул.

— В котором часу она уехала?

— Это было около трех.

Он кивнул головой и, небрежно попрощавшись, бросился к авто. Усевшись, Георг вынул из кармана железнодорожное расписание. Но здесь он ничего не нашел разъясняющего: уходило много поездов и куда могла направиться Карен, отгадать невозможно было.

Он злобно подумал: «Магнусен!» Сама Карен вряд ли могла придумать что-нибудь необычное.

Постучав в окно шоферу, он велел ему свернуть на ту улицу, где жил Магнусен, и снова ощупал браунинг.

Десять скупых слов портье и горничной не выяснили ничего. Георг поехал домой, принял ванну и, потоптавшись у себя в кабинете, вышел на улицу, чтобы не оставаться в одиночестве. Взволнованной походкой, все время оглядываясь, направился он было в кафе, где часто встречался с друзьями, но по дороге вспомнил, что еще рано. Зашел в незнакомый ему маленький ресторан, спросил себе мороженого, но, не доев, ушел.

Тоска упруго распирала его, как пар распирает котел. Ему нужны были размашистые движения и утомляющий путь. Машинально он сворачивал в боковые улицы, оттуда

снова выходил в сторону, не замечая того, что описывает путаные петли.

От безостановочных, движений, от духоты, от быстрой ходьбы он весь покрылся потом. Но дело было не в ней: мелькнула уверенная надежда, что дома он найдет письмо или телеграмму.

Вдруг он увидел Шварцмана. Еврейский Вольтер, ничего не замечая, с застывшим презрением на лице, стремительно неся куда-то, держа под мышкой доверху нагруженный портфель.

— Алло! — закричал Георг и замахал, руками.

Шварцман остановился, с надменным возмущением откинул назад свою черную, ничем не покрытую взлохмаченную голову и недовольно спросил, протягивая свою вялую, влажную руку:

— В чем дело? Зачем это я тебе понадобился в такую жару? Не иначе, как для освежающей цитаты.

— Цитаты?

— Это я вспомнил поэта Гейне, — объяснил Шварцман.

— Так жарко, что хорошо бы найти освежающую цитату.

— У тебя вечно на уме какая-нибудь книга!

— Не трогай моих книг, профан! — крикнул Шварцман и самодовольно улыбнулся.

Георг искренне расхохотался.

— Вероятно, такой же вид был у Архимеда, когда его тревожил римский солдат. Как это сказано у...?

Шварцман повел бровями и подсказал:

— У Плутарха: *Noti turbare circulos meos*. Но все-таки: в чем дело? Я действительно обдумывал одну вещь.

— Успеешь обдумать потом. Садись. Ты мне очень нужен.

Шварцман, указывая на авто, пожал своими узкими плечами, как бы говоря: приличествует ли бедному философу ездить в таком шикарном экипаже? Но все же сел и мгновенно откинулся назад с видом человека, не привыкшего ходить пешком.

— В чем же дело? — в третий раз спросил Шварцман.

— Необходимо, чтобы возле меня был умный человек. Иначе я способен натворить много глупостей.

Шварцман сразу понял, о чем он говорит. Набрасывая на себя маску полного равнодушия к житейским делам, он не без интереса прислушивался к разного рода сплетням и был отлично осведомлен решительно обо всем. О приезде Карен в сопровождении Магнусена он узнал третьего дня. О том, что оба они куда-то скрылись, — тоже. Появление Георга, обещавшего натворить много глупостей, предсказывало нечто занятное.

— Что нового? — спросил Георг.

Шварцман опять пожал плечами. Это означало: можно ли его, небожителя, спрашивать о таких вещах, имея в виду обывательскую жизнь? Он мог бы рассказать о только что вышедшей книге молодого американского философа под названием «Психология машины», которая способна была бы опрокинуть все достижения современной психологии, если бы не было его, Шварцмана, написавшего уничтожающую статью об этой книге. Мог бы еще рассказать о другой своей статье, помещенной в последней книжке Северо-Американского Обозрения, где он доказывал, что магометанские народы Азии и Африки, выйдя из состояния покоя, в самом недалеком будущем изотрут в пыль прогнившую европейскую цивилизацию. Сила, толкающая магометан к объединению, утверждал Шварцман, есть ущемленное чувство справедливости, попираемой зазнавшимся христианством. Вот это действительно новости!

— Кстати, — сказал он, — не попадались ли тебе во время путешествия газеты с рецензиями о моих статьях? Со всех сторон мне трубят, что повсюду обо мне пишут. И только я не вижу этих откликов.

— Дорогой Шварцман, — звенящим голосом возразил Георг. — Мне сейчас не до того. И ты извини меня. В другой раз я охотно помогу отыскать все, что тебе понадобится. Но сейчас...

Шварцман мгновенно затих, и удивленные брови его надолго застыли — до тех пор, пока Георг, поднявшись с ним наверх, не спросил его :

— Не хочешь ли принять ванну? Духота сегодня невозможная. По крайней мере, я — весь мокрый.

Шварцман был застигнут врасплох. Меньше всего ждал он такого предложения.

— Ванну?

— Представь себе, что я приглашаю тебя в термы какого-нибудь Каракаллы, — заметил Георг, снимая пиджак. — Философы ведь часто навещали эти учреждения.

Сопоставление с древними философами понравилось Шварцману, но по привычке встречать каждое слово своего собеседника насмешкой, он сделал презрительную гримасу.

— Ну хорошо, — сказал он с высокомерной снисходительностью. — Но я уступаю не твоему историческому аргументу, а твоему настроению: ты, очевидно, не хочешь оставаться в одиночестве. Изволь. Распорядись только, чтобы мне дали чистое белье.

### XIII

После ванны в кабинет подали кофе. Шварцман с прожорливостью набросился на пирожные и мгновенно проглотил, почти не жуя, четыре штуки. Георг апатично стал рассказывать о своем путешествии, но вдруг с живостью перепробовал самого себя:

— Послушай, Натан, ты все читаешь и все знаешь. Не можешь ли ты мне сказать, что говорят об этой чертовщине, которая творится на Атлантическом океане?

Шварцман с сытой скукой на лице ответил:

— Метеорология меня не интересует. А газет я не читаю.

— Понимаешь ли?... — Георг на мгновение задумался, а затем продолжал: — Мне сообщили, как весьма достоверный факт, что айсберги двинулись по очень простой причине: течение Гольфстрема отклонилось на запад, то есть к берегам Гренландии, и теплота растопила вечные льды.

— Отклонилось течение? — переспросил Шварцман и

скривил губы так, точно съел лимон. — Какая жюль-верновская чепуха! Моряки бы это давно заметили.

— Видишь ли, — объяснил Георг, — на поверхности океана все продолжается по прежнему, отклонение произошло на глубине нескольких футов. Кроме того, часть течения — рукав — продолжает оставаться на прежнем месте.

— Почему это тебя так занимает? — пренебрежительно бросил Шварцман. — Уж не коммерческие ли проекты тебя одолевают?

— Я тебе сейчас объясню. Мне еще передавали, будто само течение Гольфстрема сделано искусственно.

Шварцман снова изобразил на лице кислоту, поднял руки ладонями в сторону Георга, как бы отталкиваясь от него и от его слов.

— Друг мой, — сказал он с гадливостью, — ты начитался уличных газет, тех самых, которыми зачитываются шоферы, матросы и ночные сторожа. Поэтому окажи мне услугу и поищи себе другого собеседника.

Возмущенный, вскочил Георг.

— Оставь свое отвратительное высокомерие! — воскликнул он с яростью. — И так уж все говорят, что для тебя не существует достойного собеседника. Я тебе рассказываю то, что передавали мне в Америке. Допускаю, что все это не так. Но я спрашиваю тебя из обыкновенной любознательности: к чему это все могло бы привести, если это правда? Вообрази, что это правда.

— Если это правда, то в скором времени будет война, — зевая, ответил Шварцман. — Европа не может этого допустить. Чтобы ее заморозили? И без того, незаметно, бесшумно ведется борьба за обладание теплом, а тут еще в некотором роде предательство.... Конечно, Европа этого не может допустить. И будет война.

Ларсен недоверчиво усмехнулся.

— Какая там война? Между кем?

— Между Европой и Соединенными Штатами. Это очевидно. (Я, понятно, имею в виду твою жюль-верновскую предпосылку: отвод Гольфстрема.) И иначе быть не может. Застынет прибрежная Норвегия. Охладится Англия. За-

мерзнет Исландия. Отзовется это и на северной Франции. Этого тебе мало?

Георг слушал его, точно оглушенный. Неужели это возможно — война? Страшно было даже подумать, что он, Георг Ларсен, будет иметь к этому некоторое отношение.

— Ну, это уж твоя фантазия разыгралась! — успокаивая самого себя, заметил Георг.

— Моя фантазия здесь ни при чем, — резко сказал Шварцман, не выносивший возражений. — За войну говорит неумолимая логика. И предстань себе: Европа даже обрадовалась бы такому *casus belli*. Тут уж выступит на сцену экономика. Да, да, экономика, не качай головой. Ведь Европа еще до сих пор не выплатила своих долгов Америке. Долгов, оставшихся после великой войны. И не в состоянии будет выплатить, потому что экономически она импотентна. И поэтому совершенно ясно — старая шлюха, несомненно, воспользовалась бы таким благоприятным случаем, чтобы навсегда отделаться от старого долга. Разумеется, трудно сказать, чем такая война кончилась бы. Но, во всяком случае, потасовка была бы несомненно. Мне лично это доставило бы огромное удовольствие. Ибо всякая драка, в которой наша потаскушка принимает участие, ускоряет ее гибель. А это уж давно пора.

И с пафосом, который всегда являлся на зов его скрипучего голоса, Шварцман стал развивать перед Ларсеном свои прежние мысли о безнравственности европейской цивилизации, позабывшей о заветах Христа.

Слушая его, Георг заметно волновался. Неожиданные перспективы, нарисованные Шварцманом, достаточно ужаснули его. По крайней мере, он ничего не мог ему возразить. И, чтобы прекратить тягостный для него монолог Шварцмана, он перебил его:

— Дорогой Натан, ты немного увлекся. Предоставим Европу далекому суду истории. В конце концов...

Шварцман, в любом возражении находивший для себя пищу, саркастически подхватил:

— Суд истории? Пора уже бросить эти глупые слова — суд истории! Никакого суда истории не существует. Его вы-



думали для самоутешения политическая ненависть и социальные бедствия. Некогда всем мерзавцам угрожали девятью кругами ада. Когда же в это перестали верить, придумали другую сказку — суд истории. Да и как, в самом деле, история может быть судьей, когда она сама занимается — почти исключительно! — прославлением ловких негодяев? Я больше верю в геологию, чем в историю. По крайней мере, я из геологии наперед знаю, что время от времени будут происходить землетрясения, от которых погибнут и мерзавцы. Это утешает меня.

— Ты что-то далеко заехал, — заметил Георг, утомленный его резким голосом. — Право, если бы ты при мне не пил одно только кофе, я бы подумал, что ты пьян.

— Я же, — злобно заметил Шварцман, — могу тебе на это ответить, что ты глуп и невежествен. А хуже всего то, что ты не признаешь простой логики, обязательной даже для дурака. И поэтому я ухожу.

— Постой, — с досадой закричал Ларсен. — Ты совершенно невыносим в спорах! Ты какой-то бешеный. Ну, пусть будет по твоему — экономика, борьба за тепло, безнравственная цивилизация и война. Но ведь нам-то с тобой еще рано открывать военные действия? Садись и пей джинджер.

— Не желаю!

— Но я же говорю тебе: ты меня убедил! Согласен: война! И отказываюсь от суда истории. Черт с ней! Дело ведь не в этом. Я, в сущности, хотел поговорить с тобой по другому вопросу, который тоже, то есть не тоже, а просто касается меня. Садись же. Вот твоя рюмка.

— Я не люблю, когда восстают против логики! — сердито, но уже утихомирено сказал Шварцман. — Ты не чувствителен к очевидностям.

Георгу очень хотелось подсказать ему — «когда восстают против моей, шварцманской логики», — но, чтобы не разозлить его, он промолчал.

— Видишь ли... — сказал он после небольшой паузы. — Я хочу поговорить с тобой о Карен.

— Мысли у тебя летают, как блохи: от Гольфстрема к Карен! — насмешливо обронил Шварцман.

— Ты человек сообразительный, — продолжал Георг, пропустив мимо ушей его замечания. — Как ты думаешь, куда она могла уехать? Она ведь исчезла внезапно. Вернее, просто удрала. Предательски удрала. И не одна, а с Магнусеном. Двойное предательство.

Шварцман поднял плечи вровень со своими красными ушами и ничего не ответил. Но самому себе он сказал: «Если Карен решилась отвергнуть меня, то тебе, богатое ничтожество, и возмущаться нечего».

— «Время любить и время ненавидеть» — так говорил мой предок Екклезиаст, — бесстрастно произнес Шварцман. — Я же не хиромант и не гадалка. Угадывать не берусь.

Георг вздохнул. Беседа с Шварцманом только лишь усилила тяжесть на его душе.

Вечерние сумерки наполнили комнату тихой грустью, которая порождает желания обобщать свои неудачи и разочарования.

— Натан! — воскликнул вдруг Георг заклинаящим голосом. — Объясни мне, ты умный, чем берет эта женщина? Чем она привлекает к себе?

Шварцман посмотрел на него с улыбкой и тоном соболезнающего превосходства сказал:

— Мужчины, обладающие волей жизни и темпераментом, по существу своему склонны к многоженству. И поэтому нам по-настоящему нравятся только те женщины, которые умеют показывать свою многоликость. Умеют показывать себя разными. Этим они создают для нас обстановку гарема. И нам начинает казаться, что мы живем сразу с несколькими женщинами. Такова притягательная сила Карен.

Георг испуганно нахмурил брови. Игла ревности уколола его больно.

— Откуда это тебе известно? — задыхаясь, спросил он. — Это ведь так интимно. С кем ты говорил о ней? Признаться. Будь другом.

— Ни с кем не надо мне было говорить об этом, — гордо ответил Шварцман. — У меня самого было достаточно оснований, чтобы судить о Карен.

— У тебя? Ты?...

— Да, я, — четко произнес Шварцман, театрально выпрямился и взял под мышку свой нагруженный доверху портфель.

Когда он ушел, Георг устало бросился на кушетку и закрыл глаза. В ушах у него шумело. Не то от бурного красноречия Шварцмана, не то от яростной тоски, пламеневшей в сердце. Его настоящее существование представилось ему пустыней, по которой он шагает, не зная дороги, не видя цели. Не вернуться ли к Свену? А Карен? Может быть, она еще не потеряна? Может быть, она только зло пошутит?

И тогда сбоку, со стороны, из темного угла, выплыло видение нагой женщины с ласковым ртом и зазывающими бедрами, при виде которых вспыхнуло у него в глазах жидкое красное пламя. Сквозь туман тоски и желаний пронеслась мысль: Шварцман прав, она носит в себе целый гарем.

Гарем приблизился к нему, обдал жаром дыханья и властно заставил его скатиться куда-то вниз — в черный мягкий провал.

## XIV

В тот самый день, когда Шварцман беседовал с Георгом, к заповедному месту, осторожно пробираясь среди плавающих льдин, подошел пароход, спустил три шлюпки и, отойдя в сторону, где льдин было меньше, бросил якорь. Секстан показал 42 градуса с минутами северной широты. Пароход был почти совершенно пустой: пассажиров находилось на нем всего 22 человека. Наблюдательный глаз тотчас заметил бы их молчаливую согласованность в том, что они делали. Это ясно говорило о связанности их какой-то общей задачей.

Здесь были: два гидрографа, четыре инженера, два зоолога, четыре артиллериста, знатоки минного дела, два специалиста по подводному плаванию, два топографа, несколь-

ко техников водяных сообщений и еще профессор Арчи-  
бальд Томпсон, автор известного сочинения «Подводный  
мир».

В движениях этих людей чувствовалась сговоренность и намерение не терять времени напрасно. Отплывшие шлюпки были соединены с пароходом передвижным телефоном, за которым сидели трое пожилых людей: норвежец, француз, англичанин. Тут же сидел стенографист, молчаливый и бесстрастный, как статуя.

Спущенные шлюпки тотчас же разбрелись в разные стороны и образовали на водной поверхности — вершины равно-  
ностороннего треугольника. Невооруженным глазом было видно с парохода, что люди, сидевшие в шлюпках, занимают-  
ся измерением глубины.

Работа продолжалась четыре часа. После этого пароход подошел поближе к людям, и в океан были опущены два водолаза. Под водой они пробыли не больше двенадцати минут. Их быстро заменили другие, уже заранее одетые в водолазные костюмы. На смену этой паре уже была готова третья, тяжело топтавшаяся у самого борта.

Стояла тишина. Было только слышно, как вдали от темно-синего течения гулко шумят громоздившиеся друг на друга льдины и как, время от времени, вдоль бортов парохода ржаво гремели ленивые штуртросы: передвижениями руля судно несколько разбивало силу течения и этим удерживалось на месте. Кругом беззвучно колыхались небольшие айсберги. Между ними плавали и тюлени. Медленно поворачивая головы, они удивленно посматривали на людей, на пароход, на шлюпки.

Затем в воду были опущены два огромных стеклянных шара — электрические лампы, предназначенные освещать дно. Лодки тотчас же отвели эти гигантские шары на несколько сажен от судна и замерли на месте. И вдруг на темно-синей поверхности Гольфстрема, совершенно чистого от льда, вспыхнуло два ярко-зеленых круглых пятна, показавшихся выпуклыми... Тюлени встрепенулись и нырнули в воду.

Пятна дрожали и серебрились, как шелковые ткани, колеблемые ветром. По ним проплывали несомые течением желтые зонтики моллюсков. Неизвестно откуда появились альбатросы. Не решаясь приблизиться к людям, они медленно кружились над зелеными пятнами, бросая вниз острые, жадные и злые взгляды.

Это было прекрасно. Так прекрасно, что от изумления на несколько секунд застыл в своей позе бесчувственный стенографист и быстро-быстро заморгал рыжими ресницами.

На другой день после обеда с востока прилетел дирижабль. Он покружился над пятнами и, сделав несколько снимков, сбросил недалеко от парохода кассеты в резиновых чехлах. Дирижабль улетел, а на другой день утром ушел и пароход.

Чтобы точно изобразить последующие события, стремительно напозаввшие друг на друга, лучше всего воспользоваться одной газетной статьей, написанной впоследствии, через три года, в годовщину происшедшего. Статья была напечатана в копенгагенской газете и называлась:

### *История величайшего блефа*

...Эти две ночи радиостанции Англии, Франции, Италии и Норвегии работали непрерывно. Но только семьдесят или восемьдесят человек отчетливо знали, что это непрекращавшееся мерцание синеватых искр может внезапно озарить весь свет заревом адского пламени. Весь остальной мир спал безмятежно, не предчувствуя ничего. Тем сильнее было изумление проснувшихся, когда однажды утром — это было на четвертый день — они прочитали в газетах грозную ноту английского министра, обращенную к правительству Соединенных Штатов Америки.

Языком внушительным и твердым говорилось в ноте о том, что Соединенные Штаты из эгоистических целей, общая с Данией, совершили неслыханное, небывалое прес-

тупление против Европы. Тайно отведя Гольфстрем, природный источник тепла, согревавший обширные пространства Средней и Северной Европы, Соединенные Штаты нарушили законы — божеские и человеческие. Кратко перечислив возможные последствия этого вероломства, гибельного для всей европейской культуры, нота заканчивалась решительным требованием безотлагательно уничтожить искусственно созданную преграду, чтобы восстановить нормальное течение Гольфстрема. Устанавливая это требование от имени Англии, нота высказывала предположение, что к ней присоединятся все остальные европейские государства.

Одновременно во все газеты Европы была передана по телеграфу статья профессора Томпсона, подробно описывавшего сам остров и способ его воздвижения.

Томпсон писал спокойным научным слогом, но заключительные строки его статьи звучали суровой укоризной по адресу Вашингтонского правительства, которое использовало гениальную идею во вред человечеству.

“Этим остроумнейшим способом возведения тверди среди океана, — писал Томпсон, — гораздо целесообразнее и гуманнее было бы исподволь воспользоваться для создания нового материка с целью разделить муравьиную густоту населения земного шара. Соединенные Штаты в своем материалистическом бессердечии думали только о себе. Общественное мнение всей Европы и, должно быть, всего мира несомненно осудит этот прямолинейный государственный эгоизм и вдобавок сделает это в такой форме, чтобы на вечные времена отбить у кого бы то ни было охоту нарушать величавые заветы международного права”.

К этим двум сообщениям, в сущности, нечего было прибавлять, но газеты всех стран бурно откликнулись на неожиданное событие, отмечая, в какой мере охлаждение Европейского побережья отзовется на каждом государстве.

Разумеется, большее всего это ударило по Норвегии, верхняя половина которой неминуемо должна была превратиться в ледяную пустыню. Погибал и остров Шпицберген со своими залежами угля, меди и свинца и со своей

огромной электрической станцией, питавшей чуть ли не весь север. Предстояло погибнуть и Лофаденским островам, знаменитым своей рыбной ловлей.

Для Англии отклонение Гольфстрема было не меньшей катастрофой. Шотландские, Оркнейские, Гебридские острова и вся Шотландия, лишенные теплых струй, отдавались во власть холодных и влажных ветров. Чего доброго, на Великобританских островах могло совершенно исчезнуть земледелие, тем более, что с отходом Гольфстрема на запад усиливалось злое влияние течения полярного. Того хлеба, который собирается в самой Англии, ей хватает, как известно, только на одиннадцать недель. Чтобы платить за ввозимый, она должна вывозить свои изделия и продавать их дешевле, чем продают ее конкуренты. Стало быть, отклонение Гольфстрема угрожало и промышленности.

Негодующие статьи появились и в Швеции, и во Франции, в Германии, Италии. Последняя не без основания усмотрела опасность для себя не в климатических бедствиях, а в возможном передвижении человечества с севера на юг. Для Италии, задышавшейся от тесноты, это было вопросом первого значения.

Германия смотрела на это дело иначе и прямодушно раскрывала сущность вражды к Америке, нараставшей со времени окончания последней войны.

Озолоченная этой войной Америка — возможно даже, что бессознательно — задалась дерзкой целью обратить нищую, промотавшуюся Европу в тусклую глухую провинцию. Опустошая европейские галереи, коллекции, музеи, переманивая к себе выдающихся ученых, композиторов, художников и актеров, Соединенные Штаты постепенно ослабили все очаги духовной культуры в Европе. Все лучшее, первоклассное было вывезено за океан. Все убогое, искалеченное оставалось здесь. Отклонение Гольфстрема есть одна из завершительных деталей этого планомерного удушения, может быть, даже последняя. И если Европа не даст Америке должный отпор, такой же решительный, какой Азий некогда дал Аттиле на Каталаунских полях, то с европейской цивилизацией будет покончено.

Ознакомившись со всем этим, европейский мир ахнул, на несколько мгновений растерялся, чтобы затем яростно зареветь в апокалипсическом негодовании.

В этот день, после обеда, во всех столицах приостановилась всякая работа.

Перестали стучать ремингтоны, кассиры были рассеяны, бухгалтеры зачитывались газетными сообщениями, магазины пустовали. На площадях и перед редакциями газет собирались толпы, рычащие, пугливые, панические. А антенны все гудели и гудели: радио работало с непрерывной таинственностью.

Поздно ночью пришло сообщение об ответной ноте государственного департамента из Вашингтона. Правительство Штатов прежде всего находило для себя неприемлемым резкий, заносчивый тон лондонской ноты, но тут же само дало волю своей несдержанности и достаточно грубо и заносчиво указало, что об обстоятельствах, вызвавших обращение к нему правительства Короля Великобритании, ему ничего не известно. Слово Гольфстрем даже не упоминалось. Однако, тон заключительной части американской ноты был более мягким. Вашингтон делал некоторую уступку и предлагал немедленно созвать международную комиссию для расследования этого очевидного недоразумения.

Газеты сопроводили это сообщение кратким комментарием, исполненным недоверия: ответ Америки — наивная дипломатическая оттяжка, понадобившаяся для того, чтобы выиграть время, так как почти весь флот Штатов находится у берегов Калифорнии, где происходят маневры.

Восстанавливая против Америки, это замечание в то же время ясно давало понять, что пока преимущество на стороне Европы, что рисковать почти нечем и времени терять нельзя. Не захотели терять времени и те, которые, предчувствуя всесветную свалку, решили предотвратить ее. Рабочий интернационал обратился к американским рабочим с настойчивым советом надавить на Вашингтон и потребовать у него уступки Европе. Кажется, рабочие надавили, но ничего не выдавили.



Вслед за тем поступил ответ Дании. Копенгаген тоже указывал, что ему решительно ничего не известно об ответственном отклонении Гольфстрема, причем обращал внимание на то немаловажное обстоятельство, что таковое отклонение прежде всего является катастрофой для самой Дании, так как две трети ее территории (Исландия и Овечьи острова) должны лишиться незаменимого влияния Гольфстрема и обречены на ледяную смерть.

Кой-кто призадумался над этим, но таких было мало. Они тотчас же потонули в лагере крикунов.

Тогда выплыла новая сенсация. Она исходила не от дипломатов и политиков, чьи сложные диалектические узоры всегда вызывают недоверие широких масс. Новая сенсация шла непосредственно из обывательской среды, несла с собой ее же запахи и предназначалась для нее же.

Она была проще, доступней, элементарней, чем казуистическая полемика дипломатов, дорожащих нюансами, запятыми и эвфемизмами.

Норвежская актриса Карен Хокс грандиозно сообщала журналистам, что десять дней назад собственными глазами видела у одного датчанина чертеж заградительного острова. Этот датчанин, хотя и обладает большими средствами (он владелец крупнейшей транспортной фирмы в Копенгагене), но вряд ли мог самостоятельно осуществить свой грандиозный план, тем более, что последние четыре года он безвыездно проживал в Дании. И судя по тому, что он спешно был вызван в Америку для каких-то таинственных переговоров насчет Гольфстрема (в этом он сам признавался ей), актриса высказывала предположение, что датчанин когда-то запродавал свой (а скорее всего, отцовский) проект заградительного острова правительству Америки и ехал теперь давать какие-то последние разъяснения или получать деньги. При этом актриса никак не могла умолчать о том, что встретила она с этим датчанином на пароходе, шедшем в Пернамбуко. Лично она направлялась в Южную Америку, чтобы дать там целый ряд концертов, но, узнав об опасности, угрожавшей ее родине, она пожертвовала огромной неустойкой и из Пернамбуко на аэроплане вылете-

ла в Европу, а затем вернулась на родину, чтобы исполнить свой долг и осведомить обо всем норвежское правительство.

Уличные газеты озаглавили это интервью “Норвежка Карен Хокс — спасительница Европы” и поместили ее портрет, переданный по радиоскопу.

Вот теперь история с Гольфстремом получила, наконец, ту пошловато-бульварную форму, — красавица, демонический датчанин, Пернамбуко, тайная запродажа, — при помощи которой политическое событие европейской жизни проникло в цитадели мещанского равнодушия и вызвало истерический трепет у базарных торговек, горничных, парикмахеров и биллиардных маркеров. Что там закат цивилизации, Стилихон и Аэций, Каталаунская битва!

Слова олеографичной красавицы Карен Хокс, жертвующей неустойкой, были понятней и прозвучали на кухнях и базарах, как Роландов рог в Ронсевальских теснинах.

“Нас всех запродали Америке! Долой Америку!” И то слово, которое давно уже лелеяли в своих душах вершители европейских судеб, — министры, банкиры и промышленники, — яростно мечтавшие отделаться от цепких лап неумолимого заатлантического кредитора, было впервые произнесено на улице: война!

Вершители судеб отлично знали свою паству, и сценарий, ими сочиненный, был разыгран без запинки. Теперь, когда этот неистовый кавардак уже позади, всякому должно быть ясно, что стремительный ход европейской комедии — три дня! — мог направляться твердой рукой одного режиссера. Это он насыщал газеты соответствующим материалом! Это он подбавлял жару, усиливая темпы, и накалял воздух той остервенелостью, при которой человек не замечает, произносит ли он собственное слово или подсказанное ему. И, зная наперед, что он собирается подсказать оголтевшему простолюдину, режиссер заранее привел в боевую готовность новую непобедимую Армаду, тихо и незаметно вывел ее из портов и полным ходом безбоязненно двинул ее к берегам Америки, вполне уверенный, что уличный крикун все это одобрит.

Так оно и случилось. Когда на площадях завопили «Война!», крупнейший флот из 164 вымпелов — английских, французских, немецких, норвежских, итальянских — под начальством английского адмирала — уже приближался к тому самому месту, о котором героическая Карен любезно сообщила кому следует и которое за неделю до этого было так тщательно исследовано, обнюхано и общупано гидрографами, инженерами, артиллеристами и наиученнейшими зоологами. В то же самое время у Панамского канала внезапно вынырнули из тумана шесть быстроходных крейсеров, достали откуда-то десяток брандеров и заградили выход. Этим путем весь североамериканский флот, развлекавшийся игрой в оловянные солдатики где-то у Калифорнии, был обречен на полное бездействие.

По существу, это была только морская демонстрация, ибо ни одного выстрела не было сделано, но в течение четырех дней эта демонстрация именовалась войной. Вашингтон, не успевший опомниться, достаточно струсил и после 12-часового молчания выслал к врагу 8 парламентаров. Их очень любезно приняли на броненосце “Dexterity”, что означает “Ловкость”.

Это было прекрасное зрелище. Американцы его запомнили на всю жизнь: “Dexterity” стоял в тридцати ядрах от заградительного острова, который ради такого случая был под водой освещен огромными электрическими лампами. В почтительном отдалении, выстроившись правильным кругом, замерла непобедимая Армада, в которую втирались колыхавшиеся айсберги. Парламентеры в водолазных костюмах опускались на дно, щупали полипняки и тут же под водой пожимали плечами.

Совещание было непродолжительным. Мирные переговоры продолжались всего четыре дня. К восьми парламентарам присоединилось еще шесть человек, в том числе три банкира. Последние вдруг вспомнили, что мирные переговоры обычно происходят на какой-нибудь нейтральной территории и предложили Мексику. Надо ли рассказывать, что их никто не слушал? К тому же, как известно, время — деньги. И те, которые установили этот принцип, должны

были ему подчиниться и подписали соглашение, в силу которого подводный остров, преграждающий течение Гольфстрема, немедленно уничтожается. Но беда была, конечно, не в этом. Следовал еще скромный **post scriptum**. Был еще один пункт договора, как будто очень мало вытекавший из всего предыдущего, однако представители Европы держались за него цепко, как обезьяны за ветки пальмы. Он гласил: невыплаченные с 1920 года долги Англии, Франции и Италии настоящим договором аннулируются. Банкиры лезли на стены... Впрочем, какие же стены бывают на броненосцах? Ну, значит, они лезли на мачты, почесывали лысины, давились собственной слюной и — договор подписали.

После этого все суда расцвелились флагами. Гремела музыка. Ухали салюты. И, чтобы довершить свое гостеприимство, веселые европейские моряки решили развлечь своих гостей невиданным зрелищем.

“Dexterity” отошел в сторону. Кинооператоры защелкали, как андалусские кастаньеты. Адмирал махнул британским флагом. И тогда внизу, в пучине, раздался гул, за ним другой и над темно-синей поверхностью Гольфстрема грузно вздыбилась огромная водяная гора. Она шумно проколокотала в воздухе, напоила его брызгами и расцветила его гигантским снопом радужных искр. Затем, точно обессилив от собственной тяжести, водяная гора рухнула в виде необъятной кучи желтоватых кружев. Кружева стремительно расплылись во все стороны, ударились о борта всех судов, схлынули назад и с ворчливым рокотом медленно поплыли по старому извечному пути — к берегам Норвегии.

Это действительно было прекрасное, редкое зрелище. С этим согласились даже янки. Единственное, что им не понравилось — слишком дорогая плата за вход. И верно: с них взяли немножко дорогого.

Всем известно, что было потом, — заканчивала копенгагенская газета. Целых полгода по всей Европе неистовствовал бешеный карнавал. Во всех видах (при посредстве шоколада и папирос ее имени) прославляли красавицу Ка-

рен, присудили ей Монтионовскую премию, нобелевскую премию мира, многократно сжигали на площадях чучело Янки-Дудль, детей учили ненавидеть страну Беспокойного Дьявола и произносились огнедышащие речи о непоколебимости международного права. И только после шести таких сумасшедших месяцев точно выяснилось, что вся эта история — величайший из блефов, до которого мог додуматься лишь сатана. Небольшая искренняя книга нашего соотечественника, известная сейчас каждому грамотному человеку, разъяснила весь беспронимательный макиавеллизм Англии: ни Соединенные Штаты, ни Дания не имели к воздвигнутому острову ни малейшего касательства; Англия знала об этом, но делала вид, что не знает и, прикрываясь священным знаменем права, справедливости и прочей риторики, сознательно натравила Европу на своего неумолимого кредитора, обвинив его в тяжком нарушении заповедей восьмой и десятой. А чтобы как-нибудь объяснить, зачем понадобилось Соед. Штатам оттопать Гольфстрем к берегам Гренландии, принадлежащей датчанам, Англия не пожалела маленькой Дании и обвинила ее в том, что она заключила с Вашингтоном тайный договор. К счастью, во время карнавальная суматохи о Дании не подумали и забыли ее наказать.

Но когда эта книга появилась и всем стала понятна злостная мистификация, было уже поздно. Вексель 1920 г. уже не существовал. Европа чувствовала себя свободной от долгов и вкушала радость безмятежного бытия, как вкушает ее мот, запутавшийся в долгах и вдруг узнающий о внезапной гибели своего главного кредитора вместе с портфелем, где лежали векселя.

Оттого, что вашингтонское правительство вместе с президентом, все время вынужденное признавать возводимую на него вину (иначе за что же было прощать Европе ее огромный долг?), полетело к черту и попало под суд, дело не изменилось нисколько. Бедной справедливости восторжествовать не пришлось, заведомая гнусность и воровство были молчаливо утверждены и это утверждение совершенно наглядно показало еще раз, что Европа прогнила насквозь

и для поддержания своего ветхого, источенного червями организма нуждается в обмане».

Автором этой статьи был Натан Шварцман.

## XV

Пространное интервью с Карен было одновременно напечатано в утренних норвежских газетах, в английских и французских. В Копенгагене оно появилось в двенадцати-часовом листке, снабженное примечанием редакции, которая прямо указывала, что датчанин, актрисой не названный, не кто иной, как Георг Ларсен, действительно всего только на днях прибывший из Америки. Редакционная заметка, набранная жирным шрифтом, заканчивалась резким обращением к самому Ларсену: «Общественное мнение вправе требовать от вас немедленных объяснений».

Около трех часов того же дня перед зданием ларсеновской транспортной конторы собралась большая беспорядочная толпа. Она глухо гудела, напряженно всматриваясь в окна конторы, откуда иногда показывалось испуганное лицо и мгновенно, точно отброшенный платок, отлетало в сторону. Все ждали появления Ларсена.

После тревожных сумасшедших двух дней, беспрерывно томивших неопределенной угрозой, — кто? где? когда? — всем стало легче, когда газета уверенно назвала виновника. Теперь не надо было ломать себе голову, опасливо поглядывать друг на друга, искать предательства среди министров. Виновник был тут, близко, обреченный на возмездие... вот он, окруженный полицейскими.

Бледный старик, — седые волосы торчком, — прижимая руки к сердцу, растерянно кланялся в обе стороны и учащенно хлопал глазами. Губы его шевелились, но как будто беззвучно. Влажное от пота лицо поминутно искривлялось судорогой.

— Что он говорит?

— Немедленно судить его! И больше никаких! Чего там!

— Пойдите же! Это ведь не тот. Тот молодой. Это управляющий делами!

— Ничего не значит. Одна шайка. Судить его!

— А что он говорит?

Из передних рядов донеслось:

— Он говорит, что самого Ларсена нет... и что...

— Ясное дело, удрал. Станет он ждать, пока правительство выпится?

— Дайте же человеку толком рассказать!

— И еще говорит, что в газетах какая-то ошибка. Он работает в этой фирме тридцать лет и никаких тайн, вредных для страны, не знает.

— Судить его, судить! Уж мы сами разберем, что вредно и что не вредно.

Вдруг раскрылась дверь на балкон. Появился какой-то полный человек. Уверенным движением руки провел он горизонтальную линию в воздухе. Толпа стихла. Передние ряды ясно слышали:

— От имени правительства я прошу вас спокойно разойтись по домам. Правительство принимает все меры к выяснению обстоятельства, сообщенного газетами. Выступления граждан, хотя бы и вызванные справедливым негодованием, могут повредить раскрытию истины. Результаты расследования будут немедленно сообщены. От вас же требуется только спокойствие.

Затем он удалился. Бледный старик, окруженный полицейскими, пожимая плечами, пытался еще что-то сказать, но полицейские оттолкнули его назад к двери.

Толпа заколыхалась, загудела. Кто-то бросил камень в окно. Кто-то вскрикнул:

— На всякий случай!

Звон разбитого стекла заставил всех насторожиться, не начинается ли что-нибудь. Тогда полицейские, оттеснив первые ряды, быстрым движением извивающейся шеренги раскололи толпу.

Какой-то рабочий с совершенно белыми ресницами взобрался на фонарь и хорошо рассчитанным плоским голосом начал яростно говорить о предательстве капиталистов, которые всегда готовы пожертвовать интересами целой страны для... Он так и не кончил. Вероятно, чтобы иллюстрировать свой мысль, он указал правой рукой на вывеску с именем Ларсена, но левая, не выдержав его тяжести, соскользнула со столба. Рабочий свалился.

— А ведь это же верно! — сказал рядом стоявший старичок и уныло повел бровями, похожими на мохнатых гусениц. — Я не социалист. Но подумайте сами: этому негодяю хочется удесятерить свои миллионы, и потому — пусть себе погибает Дания! Пусть погибнет весь земной шар. Этакая подлость!

— Шпионов надо вешать, — яростно выпалила женщина в два обхвата. От нее сильно пахло рыбой.

— Шпионов? Откуда же вы взяли шпионов?

— А разве он не шпион? Ведь он продал Америке все наши чертежи. Наши планы. Вы, стало быть, не читали газет.

— Наши чертежи? Уж не вы ли их чертили?

— Теперь не до шуток! — желчно огрызнулся за торговку худой, плохо выбритый человек в измятом котелке и желтых ботинках. Его профессия угадывалась сразу: истребитель клопов, тараканов и мышей. — Не сегодня-завтра весь мир может полететь вверх тормашками. Впрочем, туда ему и дорога. Слишком много подлецов развелось на свете. Они торгуют чужими жизнями, чужими государствами и даже, как видите, чужим климатом (новый предмет торговли!). И правительство, связанное старыми дурацкими законами, нисколько не препятствует им в этом. Нет, уж лучше пускай будет война!

— Война? Кто сказал «война»?

— Вот этот.

Среди гула раздалась звонкая оплеуха. Затем глухие удары по котелку и спине. Истребитель клопов пригнулся к земле, нырнул в сторону и — растворился в людской толчее.



Вдруг резко прокричал автомобильный рожок. Толпа оглянулась. Показалось большое открытое авто и врезалось в массу. На сиденье вскочил высокий худой человек в цилиндре и повторил почти то же, что с балкона сказал чиновник. Это был бюргемейстер. Некоторые его знали в лицо. У него был приятный голос, внушавший доверие. Полицейские воспользовались отвлекшимся вниманием и снова провели через море голов живую борозду.

Двадцать пять минут спустя на улице оставались только небольшие группы зевак, тревожно озиравшихся по сторонам.

А еще через четверть часа стремительно нахлынули газетчики с кипами экстренных листков, на которых крупными буквами было напечатано жуткое слово: «Война».

Одновременно примчался грузовой автомобиль, резко остановился у одного магазина и выбросил рабочего, вымазанного мукой. Переходя тротуар, рабочий сообщил на ходу, что таможенный катер обнаружил в нескольких милях от рейда чужую эскадру.

— Говорят, англичане, шведы и норвежцы.

## XVI

Управляющий делами Эриксен, понутив голову, сидел у себя в кабинете совершенно подавленный и, ничего не соображая, тупо повторял:

— Никогда в своей жизни... Никогда!

Платок, которым он то и дело вытирал струившийся пот, был уже мокрый. В левом глазу, широко открытом, тускнела застывшая слеза, и казалось, что глаз у старика стеклянный.

Старшие служащие — стоя, точно на молитве — всячески пытались уверить растерявшегося Эриксена, что все это не больше, как грустное недоразумение, но их доводы были вялы и неубедительны. К тому же Ларсен действительно исчез загадочно и внезапно: это усиливало подозрение

в какой-то его вине. Кассир сообщил, что вчера вечером, за пять минут до конца занятий, он выдал Ларсену значительную сумму в английской валюте; у камердинера узнали, что Ларсен взял с собой большой сундук, с которым он обычно отправлялся в далекую поездку. Было ясно, что Ларсен попросту скрылся, и таким образом следователя обманули: ему сказали, что владелец фирмы уехал на о. Борнгоlm. Конечно, эта неправда не так уж была преступна, но следователь опечатал весь архив и унес с собой всю шифрованную переписку. Возникали, таким образом, серьезные основания думать, что предстоят неприятности для всей конторы: соучастие!

Разговаривали отрывисто и негромко, хотя все служащие уже разошлись и некому было подслушивать.

— Я знаю только, что никогда в своей жизни... Никогда... Мне 64 года. И еще никогда...

Вдруг резко задрожал телефон.

Кто-то настойчиво добивался узнать, где Ларсен.

— Нужен до зарезу! По очень важному делу. Очень важному.

Это звонил Натан Шварцман.

Ах, если бы тут сейчас оказался Магнусен, всегда насыщенный своим сдержанным великолепием и не упускавший случая поиздеваться над экспансивным еврейским Вольтером! Как бы он зло хохотал!

Очень важное дело Натана Шварцмана! С чем же он мог явиться в такую иступленную минуту, когда только что была объявлена война, а Георга Ларсена без обиняков называли виновником этой войны? Чего ему понадобилось от Ларсена?

Тот, кто по-настоящему знал его, тот нисколько не удивился бы, узнав, что Шварцман позвонил исключительно для того, чтобы с торжествующей хрипотой крикнуть в телефонную трубку:

— А кто говорил, что будет война? Я говорил! Я же говорил! Европе только этого и надо было! Кто прав?

Но, увы, теперь ему не перед кем было подчеркнуть свою прозорливость: Ларсена не оказалось. Да и Магнусену бы-

ло сейчас не до смеха. Магнусен, отставной кавалерийский офицер датской службы (так был он отмечен на другой день в газетах), как раз в это время, находясь в столице Норвегии, в номере отеля, отделенный от прекрасной Карен только стеной, пускал себе пулю в висок.

Холодный расчетливый Магнусен неплохо умел рассчитывать, когда речь шла о стратегических шагах в делах маленьких, домашних, житейских. Но для большого плацдарма у него не хватило дальновидности, и никак он не мог предусмотреть, что рекламно-патриотическая выходка актрисы примет такой печальный оборот для его родины. Не мог этого предвидеть, и маленькая пуля из черно-матового браунинга положила предел его раскаянию.

Ну, а Ларсен — тот в это время находился в Берлине.

Два сумасшедших дня, непрерывно наливавшихся тревогой, взвинтили его до отчаяния. Каждый час приносил с собой какой-нибудь ошеломляющий слух. И было ясно: неуклонным, бесповоротным шагом надвигалось страшное, не вмещавшееся в его мозгу. Что с того, что он притаился и молчит! Не похож ли он на преступника, разыскиваемого ищейками и вдруг замечающего, что круг поисков стремительно суживается?

Еще никто не указал на него, но он уже чувствовал на себе пристальные, негодующие взгляды тех, кто возложил на него всю тяжесть наследия предков! Не оправдал надежд, не отстоял, не донес до конца. Дряблый последыш, недостойный наследник и — да, да, Свен прав! — курица, впряженная в ломовую телегу.

Сжигаемый внутренним стыдом, он проклинал и себя, и свою неудачу — быть последним, а не промежуточным. Для конца нужен был герой с тяжелым упорством на лице, который бы мог гордо отстаивать и великую задачу предков и их невольные ошибки. Но что может сделать курица?

И тут еще смертельно колола острая боль предательства: Магнусен и Карен!

Не воспользоваться ли браунингом, при помощи которого он четыре дня назад собирался отплатить этому нахрамаленному индюку? Впрочем, нет, нет, надо отомстить

сначала ему, а уж потом...

Тогда возникла мысль — скрыться. Если не от самого себя, то хотя бы от тех, кому через несколько дней он не сможет посмотреть в глаза.

Получивши деньги у кассира, он бросился домой и на ходу торопливо обронил камердинеру:

— Уложить вещи. В большой сундук.

— Что прикажете положить?

Он призадумался. Сердце билось тревожно. Не последний ли раз он в своем доме? Велел принести сундук в кабинет и стал укладываться без помощи камердинера: два костюма, немного белья, туалетные принадлежности. Да нет же, о самом главном он не подумал. Скрыть от чужого, назойливого глаза старые заброшенные реликвии! Скрыть! Скрыть! Теперь они стали для него бесконечно дороги и священны, как таившие в себе связь с предками, которых он предал, как возбудители энергии.

Он бросился в коридор, где в отдаленном углу стоял огромный мрачный шкаф, походивший на только что уснувшего великана. Быстро взломал дверцу и вынул шкатулку из эбенового дерева, где хранились сложенные чертежи, заметки, обломанные полипняки и ежегодные записи роста подводной тверди.

Было мучительно смотреть на все это: столько чаяний, мыслей, забот и тяжелых жертв запечатлевали на себе эти пожелтевшие бумаги, бережно переходившие из рода в род. Незримым потоком исходили отсюда в течение десятилетий волны упругих, несгибающихся желаний, устремляясь к заповедной точке океана. И вот... Да, курица, впряженная в ломовую телегу!

Внезапно спазм сдавила горло. Скрыть, скрыть от подлого человеческого глаза! От чужой насмешки! От чужого ротозейства! Прижимая к груди шкатулку, бросился назад в кабинет. Шторой смахнул густую пыль с крышки и осторожно, точно стеклянную, опустил шкатулку на дно сундука.

Но когда поднялся, заметил вдруг косую тень на стене: гитара, наследие матери! Опять горло ощутило железную

хватку спазмы, и снова мучительно заныла, запламенела ущемленная душа.

Мать? Нет, вспомнилась другая, чье зазывающее тело в своем щедром великолепии сверкнуло вдруг перед глазами — та, которую он, подобно Орфею, побеждал при помощи этих семи струн. И если бы не надо было торопиться, с каким наслаждением он еще раз спел бы, под аккомпанемент гитары, одну из тех русских песенок, которой он однажды впервые укротил этого порочного, подлого, но обольстительного зверя! Спел бы только для того, чтобы восстановить перед собой сладостное видение... как это сказал Шварцман («она носит в себе целый гарем»)... сладостное видение гарема, состоящего из нее одной.

Плask!... Лопнула струна на гитаре. Вздогнул: плохое предзнаменование. Впрочем, что может быть хуже?

Быстро ослабил уцелевшие струны, обвернул гитару рубашкой, положил в сундук и захлопнул крышку.

Короткий звон автоматического замка показался прощальным.

## XVII

Чтобы уехать незамеченным, пришлось прибегнуть к некоторым предосторожностям: отправить камердинера с багажом вперед, дать ему распоряжение купить билет до Стокгольма, затем отпустить камердинера и купить новый билет — на этот раз до Берлина.

Уезжал в лихорадочном волнении. Ехал с ноющей досадой и удушающим предчувствием дурного.

Под колесами стремительно убегала Дания. Всю дорогу, не переставая, думал напряженно об одном: что было бы, если бы он послушался Свена и не пустился в погоню за Карен? Разве не то же самое? К чему привел бы разговор с датским посланником в Вашингтоне, когда Карен уже успела кому-то сообщить (или продать) его тайну? Теперь другое: что было бы, если бы с ним не произошло при-

падка откровенности и он не посвятил бы Карен в историю происхождения заградительного острова? Отсрочка, не больше. Не сейчас, так через полгода все обнаружилось бы полностью. Несчастье заключалось в том, что все это случилось (и должно было случиться) при нем. Если бы заградительный остров поднялся на тридцать лет позже, при его сыне, то виновным оказался бы сын. Разве не так — виноват всегда тот, на долю которого выпадает последняя неудача или необходимость отчитываться за предшествующие ошибки.

В Берлине Георг остановился в скромном отеле у Штеттинского вокзала. Медленно, не торопясь, принял ванну, побрился, переложил вещи. Потом завтракал, не ощущая ни малейшего желания есть, и в промежутках между глотками кофе пытался тщательно обдумать, как поступить дальше. Ничего не мог придумать, решительно ничего — и остановился на том, чтобы предотвратить себя наплывающим событиям: что будет, то будет!

Вышел из отеля с пустой головой, ни к чему не чувствительной, и пробовал уверить себя, что в людской толчее чужого города в солнечное утро он отвлечется от терзаний. Но шнырявшие мимо него люди только раздражали его своей озабоченной торопливостью и ясно выраженным намерением напрасно не терять ни одной минуты. Это было как раз противоположное тому, чего ему хотелось для себя — чтобы время летело быстро, чтобы дни и недели мелькнули, точно во сне.

Вдруг у края тротуара прозвучал возглас газетчика. Георг замедлил шаги, прислушался и тотчас же побледнел. Газетчик выкрикивал:

— Заговор против Европы раскрыла опереточная актриса! Заговор против Европы раскрыла...

Георг быстро сунул руку в карман, чтобы достать мелочь, но преодолел любопытство и пошел дальше. Однако губы его дрожали.

Две минуты спустя тот же возглас повторился с другой интонацией и другим тембром. Георг сжал губы и даже не взглянул на газетчика.

— Во главе заговора против Европы стоял датчанин! — услышал он позади себя, и холодок жуткого ужаса пробежал у корней его волос по самому черепу.

Тогда он повернулся и, выдавив улыбку на лице, с деланным спокойствием подошел к газетчику и купил у него листок.

...Фамилия не названа. Но это ничего не значит. Завтра она будет приведена и, может быть, рядом поместят его портрет. Уж эти жадные, пронырливые ищейки-репортеры где-нибудь да разыщут его фотографическую карточку. И затем его имя начнут трепать на всех перекрестках. Возможно, что в Копенгагене его имя уже выкрикивают...

Внезапно его кольнула острая мысль:

«Пожалуй, это произойдет еще сегодня. В вечерних газетах. И в отеле, где его имя значится на доске...»

Он бросился назад в отель. Теперь и у него на лице явно отражалась тревожная забота не потерять ни одной минуты. Но как же...?

Пробегая мимо портье и сообщая ему, что он немедленно уезжает, Георг уже решил: переехать в другую гостиницу и записаться под другим именем. И оно уже четко выплыло в его сознании: Тумасов из Москвы.

Четверть часа спустя проворный автомобиль мчал его в Шарлоттенбург. А еще через двадцать минут Ларсен стоял уже перед другим портье и заносил на карточку новые данные о себе, измышленные по дороге.

Квадратный портье, весь налитый пивом, опытным глазом скользнул по бумажке, коротко кивнул головой и, чтобы доставить удовольствие, вновь прибывшему с интимностью в жирном голосе сказал:

— У нас всегда останавливаются ваши соотечественники. И сейчас у нас восемь русских.

Георг отвернулся и посмотрел на свой сундук.

Очутившись у себя в номере, он в отчаянии бросился на кушетку. Досада за досадой! И хуже всего то, что это еще не все, что неизбежно предстоят новые огорчения, тревоги и страхи. Несчастья еще не было, но оно уже показало свою густую тень. Еще никто не назвал его, никто еще не разы-

скивал, но уже чувствовал себя загнанным, затравленным зверем, которого со всех сторон подстерегает опасность.

Звонкие коридоры отеля доносили до него звуки подкрадывающихся шагов и злорадный шепот сыщиков. Через дверное отверстие мерещился ему расширенный зрачок подсматривающего глаза.

Он вскочил, надел другой костюм, другую шляпу — чтобы не узнали! — и, приоткрыв дверь, внимательно осмотрел оба конца коридора: никого не было. Тогда он вышел, крадучись, почти на цыпочках, но с лестницы сбежал торопливо, точно за ним гнались. Проходя мимо портье, шаги замедлил, остановился возле объявления о частных воздушных рейсах и, ничего не соображая, прочел его до конца, ощущая на себе чьи-то лукавые, пристальные взгляды. Из прочитанного в памяти уцелели два слова, напечатанные косым, пьяным шрифтом: «экономия времени». Всю дорогу машинально повторял их и только под конец сообразил значение этих слов. Экономия времени! Как раз для него! Ему некуда девать его, нечем убить его, это подлое, капельками просачивающееся время! Хорошо бы заснуть на месяц, на два, на год. И, проснувшись, узнать, что все миновало или — это еще лучше — что ничего не было.

Вечер принес предугаданную неприятность. Она застигла его на станции подземной дороги, куда он забрался только для того, чтобы приобщиться к движению снующей толпы. В киоске увидел он вдруг свой портрет на газете. Как ни был он к этому подготовлен, однако побледнел. Задражали ноги, дрожь поднялась выше, и через мгновение все тело его испытывало сильнейший озноб. Одновременно на лбу его выступил пот. Он сделал над собой усилие, нахлобучил шляпу и подошел к киоску.

Под портретом, достаточно похожим, была помещена телеграмма из Копенгагена, называвшая его имя, как виновника происшедшего. Приводилась его биография, сообщалось о его связи с опереточной актрисой Карен Хокс и еще о том, что он скрылся. Заключительные строки телеграммы, крикливо и точно позвякивая золотом, бросали в пространство громкий призыв — датская полиция немед-



ленно уплатит 100.000 крон за указание его местожительства.

Георг читал эту телеграмму с таким же чувством, с каким он читал бы некролог о себе: вот он каков, конечный итог фирмы Ларсен! Снова задрожали колени.

Портрет бросился ему в глаза прежде всего, и поэтому он не заметил заголовка, напечатанного огромными буквами: «Война между Европой и Америкой объявлена». Когда он прочел это, у него явилось мучительное желание спрятаться от всех.

Оторвавшись от газеты, он испуганно оглянулся и упрекнул себя за глупую неосторожность: стоять рядом со своим портретом. Удрать, удрать от всех! Сбоку стояла телефонная будка. Он забежал туда, захлопнул за собой дверь и, прислонившись к стене, простоял в оцепенении минут пять, десять, а может быть, и час. На матовом стекле будки шевелились силуэты прохожих. Может быть, его профиль также виден на стекле? И кто-нибудь, имея перед собой портрет... Ах, да, это невозможно: в будке темно.

Когда он поднялся наверх, улица жужжала, как подкуриваемый улей. Георг нырнул в толпу и стал внимательно прислушиваться, не упоминают ли его имени. Нет, своего имени он не услышал, но зато несколько раз рядом с ним с дружелюбной четкостью прозвучало имя Карен...

С горькой усмешкой он подумал:

«Натан Шварцман, наверное, не упустил бы случая ехидно сказать мне, что мое бессмертие длилось не больше часа. И ведь верно — меня уже отбросили в сторону».

В этот день — это был только первый день — он лег спать в десятом часу вечера, испытывая полное изнеможение. Несколько раз перекладывая неудобную, жаркую подушку, он с горестным сокрушением думал:

«У меня отняли все сразу. И наследие предков. И Карен. И мою честь. И мое имя, потому что я не смею назвать себя вслух. Я — точно заживо погребенный, который через стеклянную крышку гроба в холодном ужасе посматривает на своих гробовщиков и на наследников, с места в карьер начавших хозяйничать по-своему. Но, может быть, смерть

в этом и заключается — человек все видит и все сознает, но он лишается силы и права как-нибудь реагировать на это?»

С мыслями о наступающей для него смерти он ворочался всю ночь и заснул только под утро.

## XVIII

Проснувшись, Георг Ларсен в угрюмом отчаянии перебрал воспоминания о вчерашнем дне и, продолжая лежать с закрытыми глазами, уныло спрашивал себя:

— Чего я, собственно, жду? Какие у меня надежды? Что может изменить положение?

Но все же смутные надежды еще были. По крайней мере, он с живостью вскочил с кровати, приоткрыл дверь и, найдя на полу газету, жадно скользнул по ее разбросанным заголовкам. Первый из них успокоительно намекал на большую вероятность победы Европы: почти весь флот Северо-Американских Соединенных Штатов был закупорен в Тихом океане. Передовая же статья ясно давала понять, что при таких обстоятельствах военные действия ограничатся демонстрацией европейской эскадры, после чего Америке придется уступить.

— То есть? То есть? — взволнованно спрашивал он себя. — Ведь уступить, это значит...

Острой иглой прошла эта мысль сквозь его тело и запечатлелась болезненной гримасой на лице, точно он коснулся раскаленного железа. Теперь уж не на что было надеяться. Он уничтожен. Георга Ларсена, как потомка и наследника, больше не существует. На языке бухгалтеров это означало, что надо списать в расход весь актив нескольких десятилетий. Можно, конечно, начать жизнь заново и самостоятельно — скажем, в качестве Тумасова, но это... это та ребяческая глупость, которая возникает в опустошенном мозгу. Да и не в том дело, чтобы найти для себя место во вселенной и новую цель. Самое обидное в данном случае, самое мучительное, самое, невыносимое — стыд перед са-

мим собой. Душа болит. Мучает совесть. О, ничтожество, ничтожество!

В презрении к самому себе снова подумал о браунинге. но, вздохнувши, поднял с пола газету и опять принялся читать ее. Пафос газетных авторов, не несущих на себе ни малейшего риска войны и безнаказанно стреляющих негодованием, показался ему омерзительным: все вдруг стали вояками! Нет, не мог читать дальше. Каждая строчка мучительно напоминала о том, о чем не хотелось сейчас думать. Скомкал газету и бросил ее в угол. Затем стал одеваться — машинально, тупо, ничего не соображая и неловко роняя запонки.

Выйдя на улицу, направился в Тиргартен. Пустынные по утрам аллеи излучали освежающую бодрость. Она была сейчас необходима, потому что силы догорали последним огнем.

По дороге рассеянно купил предложенную газету, но, спохватившись, через несколько минут сознательно уронил ее. После этого купил иллюстрированный журнал. Оказался популярно-техническим изданием: очень хорошо! Дойдя до первой скамьи, уселся лицом к солнцу и принялся рассматривать рисунки. Очень скоро, однако, вынужден был вернуться к своим прежним разъедающим мыслям: попала статья, в которой, по поводу конфликта Европы с Америкой, рассказывалось о старом плане отклонения Гольфстрема при помощи туннеля через полуостров Флориду.

Стиснув зубы, перелистал страницу. В следующей статье приводилось описание усовершенствованного экскаватора. Георг усмехнулся, — на этот раз, кажется, нечего было опасаться неприятных напоминаний.

История с усовершенствованием экскаватора оказалась презанятнейшей. В конце 18-го века некто Джемс Темперлей изобрел стенной поворотный кран с 4-мя полиспадами. Его сын, Джон, занимавшийся тем же делом, пошел дальше и придумал пловучий кран для разгрузки доков. Сын Джона, Бенжамен Темперлей, в светлой голове которого соединились изобретательность деда и настойчивость отца, шагнул еще дальше и прославился своим паровым подъем-

ным краном, действующим по 4-м осям координат. В дальнейших поколениях имена стали повторяться. На сцене снова появились Джемс, Джон и Бенжамен, упрямые преодолеватели инерции. Каждый из них вносил новое — в то же дело. Так возникли: мостовой кран для мастерских с грузоподъемностью в 15 тонн, затем экскаватор с ленточным тормозом, потом экскаватор для подъема военных судов и, наконец, экскаватор, управляемый одним человеком и самостоятельно разгружающий, взвешивающий и распределяющий уголь на любой площади. Потомки Темперлея живут и поныне. Последний из них, Джозеф Темперлей, внес свою дань в фамильное дело в виде нового усовершенствования: его экскаватор без всякого преувеличения напоминает живое мыслящее существо, обладающее к тому же сверхъестественной силой.

Получалось так, восторженно писал автор статьи, что изобретателем экскаватора оказывался не один человек, а целый коллектив из ряда потомков одной семьи. Не иначе, как в каждом из Темперлеев жила душа первого из них, и заряда упорной настойчивости, этим Темперлеем оставленного, хватило на все дальнейшие звенья его славного рода: упрямо и благоговейно каждый продолжал работу своего предшественника. Не напоминает ли сам зачинатель блестящую ракету большого заряда, которая по сей день неизменно вздымается вверх?

Еще не дочитав до конца, Георг ощутил прежнюю нестерпимую горечь, точно кто-то назойливо продолжал издеваться над ним, подсовывая неприятные строки. А дочитав, — бросил журнал в сторону, вскочил и нетвердой спотыкающейся походкой зашагал по аллее.

Горечь, однако, не исчезала. Этот удачник Темперлей, неуклонно прошедший через целое столетие (и ни разу не заблудившийся!) давал новую пищу для обидного и уничтожающего сопоставления. Опять началось самобичевание: дряблый последыш, недостойный наследник, курица, впряженная в телегу! К этому прибавилось еще одно уязвляющее сравнение — с ракетой. Разве не так? Плавный стремительный подъем вверх, пока хватает заряда. А затем

взрыв — и ничего нет. У Темперлеев еще по сие время не иссяк их наследственный заряд, а для него, Георга Ларсена, заряда не хватало. Не так ли? Просто ракета не долетела до конца и обратилась в ничто раньше срока. Но разве это его вина?

Где-то близко, совсем близко ощущал он успокоительный, логический бром для своей взбудораженной, взвинченной совести: еще два-три, четыре силлогизма — и, пожалуй, легко снимется невыносимая тяжесть с души. Но силлогизмы упорно не являлись.

В эти минуты беспомощного одиночества он с сокрушением пожалел об отсутствии Шварцмана: вот когда бы пригодилась его нетускнеющая способность рассуждать! Этому логике, воспламеняющемуся от одного только приближения к трудноразрешимой задаче, ничего не стоило бы — ничего не стоило бы! — доказать ему, Георгу Ларсену, что Георг Ларсен столь виноват в том, что случилось, сколько виновата безответственная ракета, не долетевшая до намеченного конца.

Но Шварцмана не было. Бедный принц датский! Ларсен вздохнул, почесал затылок и, прислушиваясь к собственным шагам, поплелся назад в город.

В первом попавшемся ресторанчике он сделал попытку пообедать. Но есть не мог. Еда застревала в горле. Влил в себя большую рюмку коньяку. Увидал вермут — послал вдогонку и вермут. То и другое дополнил фужером пива. Почувствовал головокружение, брезгливо отодвинул от себя все, что стояло на столе, и направился в отель. Какая духота! Не от нее ли засохли мысли в голове?

Когда пробирался среди шнырявших автомобилей и подпрыгивающих автобусов, подумал: хорошо бы попасть под колеса. Но как только представил себе свое растерзанное тело и лужу крови на асфальте, поторопился очутиться на тротуаре.

В тишине номера заснул быстро, проспал около трех часов, и первая мысль после пробуждения уколола досадой — все еще был день и всего только второй!

Не отправиться ж в театр? Нет, еще рано. Да и все время театр будет напоминать о Карен. (Актриса она была все-таки замечательная и в жизни тоже оказалось актрисой! Да, да!). Пожалуй, в кино? Но ведь то же самое: воспоминания о ее планах сыграть фильмовую роль еще слишком свежи. (А как она огорчалась, что у глаз ее появились морщины: фильм все выдает, от него ничего не утаишь!)

Взял со столика английский *Magasin*. Иллюстрации превосходны, но вот вам: новелла под названием «Человек, которого выслеживают». О, проклятие! Со всех сторон подкарауливают его укоры, точно злые эвмениды. Как же в таком случае чувствуют себя настоящие преступники? Хотя что, собственно, значит «настоящий»? И в чем заключается разница между... Ах, черт! Опять эта напасть! Не почитать ли Библию? Кстати, он никогда не читал ее по-немецки.

Рядом с отелем помещался большой книжный магазин. Его прохлада была насыщена запахом старой кожи и ванили. Там Ларсен купил Библию, переплетенную в пурпуровое сукно. А через четверть часа, растянувшись на кушетке, он погрузился в торжественные слова древности, которая сразу отвела его от современной суетни.

Убаюканный величественным ритмом, он вскоре действительно забылся. Томления сегодняшнего дня, злые сопоставления и терпкий яд досаждающих мелочей — все растворилось в нежно-выцветших примитивах, которые не издевались, не рыдали, а только лишь улыбались.

Но по мере того, как назад уплывали страницы, библейские патриархи меняли свой лик. Простодушные сменялось мрачностью, над которой зорко и жадно рыскал дух яростного Еговы. Сверкали злые, истребительные молнии, грохотали мстительные громы.

Георг начинал ощущать подкрадывающуюся тревогу. И уж он было отложил книгу в сторону, чтобы не отягчать своей усталости, как вдруг глаза зацепились за одно место, вызвавшее в его памяти бабушку Зигрид. В одно мгновение далекое воспоминание четко уплотнилось (мелькнуло румяное лицо покойной) и заструился уютный вечерний свет, падавший на толстую книгу. Над ней с умной улыб-

кой склонилась старуха. Он же (тогда еще 14-летний мальчуган) сидел по другую сторону стола и, подперев голову ладонью, внимательно слушал ее:

«...и взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Неву... И показал ему Господь всю землю Галаад... и всю землю до западного моря и полуденную страну... И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: “семени твоему дам ее”. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень».

Точно сама собой захлопнулась Библия. Плотно закрыв глаза, Георг почувствовал, как замирает и никнет его сердце. Неизбежный круг вновь каверзно привел его к тому, от чего он так мучительно хотел отойти. Его как будто вызывали на неприятный разговор.

— Ну что ж, поговорим, — вслух оказал он, поднимаясь с кожаной подушки. — Поговорим.

И, обращаясь к незримой тени, колебавшейся в углу, он с усиливающейся укоризной громко прошептал:

— Вот я и есмь семя Авраама, Исаака и Иакова, которыми ты некогда клялся. Ты благословил их труд удачами, а затем обманул их. Ты держал их в долгом заблуждении, ты пил горячую кровь с их жертвенников, а когда наступил час воздаяния, ты отогнал меня от земли Галаад и полуденной страны. Ты обманщик, потешающийся над бедным человечеством! Ты ростовщик, наперед взимающий проценты и за что? За призрачные иллюзии! Я есмь семя Авраамово и Иаково, последнее семя, завершительное семя. И значит, я не мост, я цель. И если ты не сохранил для меня оплаченное жертвами — ты не Бог, ты дьявол, заманивающий соблазнами... Сохрани же!

Он вскочил, оглянулся, потер виски и еще раз бросил:

— Сохрани же! Ты должен сохранить!

Эти слова принесли ему облегчение. Он повторил их. На этот раз интонации его были еще яростнее.

— Ты пил горячую кровь с их жертвенников! Где же воздаяние твое? Ты отогнал от земли Галаад и полуденной страны меня? Нет, ты должен меня вернуть к ней. Должен.

Ты ведь караешь детей за грехи предков, но не предков за грехи детей. Ты мне все должен возвратить! Все! Я не мост, подобно моему отцу, моей бабушке, моему прадеду. Я цель.

В яростном восторге, его охватившем (нашел, нашел!) он шагал по комнате и выкрикивал отдельные фразы. Уставая, снова ложился и снова шептал.

— Их жертву ты признал угрозой и поощрил ее чудом: твердью среди океана. Где же благоволение к завершительно начатого?

Мысль о том, что он уже не оправдывается, а обвиняет, подбодрила его, подхлестнула и подняла его упавший дух. Переиначивая фразы своей негодующей речи, он твердил их до поздней ночи, шагая по комнате, а затем по боковым, малолюдным улицам, по которым он блуждал до потери сил.

Вернувшись, он лег, потому что не мог больше держаться на ногах. Но, снедаемый бессонницей, с остатками догорающих сил, снова вернулся он к своей ярости и опять шептал одно и то же, одно и то же.

На следующий день это повторилось заново. Погода была дождливая, небо темное. Тоска усилила боль. Боль взвинтила ярость. Но на этот раз он уже не поднимался с кушетки, пожелтевший и весь в ознобе, ничего не ел и только до одурения курил сигары и пил воду, точно пламенеющие мысли иссушили его внутренности.

Два раза, как бы случайно, заглядывал к нему управляющий отелем и с вежливой осторожностью, прикасаясь кончиками пальцев к столу (это должно было свидетельствовать о его искренней заботливости), намекал на то, что следует позвать врача. Ларсен упрямо качал головой и после его ухода снова пускался в спор с воображаемым оппонентом.

На четвертый день утром пришло звонкое радио, подробно описывавшее картину взрыва заградительного острова. Это была словесная олеография, расцветченная прилагательными в трижды превосходной степени. Таким стилем победные реляции писались, вероятно, только в Византии.



Сообщение застигло Георга, когда он проходил вестибюль, чтобы отправиться в пустынные места Тиргартена — в комнате он задышался. Воспаленным взглядом впился он в раскрытую на столике газету, задержав дыхание. Это длилось несколько секунд. На лице его запрыгали судороги. Беззвучно зашевелились губы. И вдруг, настежь раскрыв глаза, пошатываясь подошел к бесстрастному портье и что-то сказал ему, положив перед ним газетный лист. Портье не расслышал и перегнулся через стойку. Тогда Ларсен, схватив его обеими руками за шею, дико закричал:

— Ты клялся Аврааму, Исааку и Иакову! Где обещанное тобой? Говори же! Где обещанное тобой?

Веснушчато-фарфоровый бой у стеклянной вертящейся двери, всегда безжизненный, как автомат, в одно мгновение вострепнулся и изумленно захлопал ресницами. Затем, оторвавшись от двери, юркнул в сторону, балансируя руками, и тотчас же вернулся в сопровождении широкоплечего атлета.

Ларсену живо скрутили руки и грубо втолкнули в боковую комнату, чтобы солидное спокойствие первоклассного отеля не нарушалось ни на одну минуту.

Тем более, что Европа праздновала свою великую победу.

## XIX

За внезапным припадком последовали три недели бессознательного неистовства, словесной одержимости и беспрерывного внутреннего горения.

Георг был точно под гипнозом. Он ничего не слышал, ничего не видел. Его перевезли в клинику для нервных больных, посадили возле него сестру милосердия, и болезнь предоставили самой себе, лишь применяя к больному искусственное питание и успокоительные снадобья.

Когда неистовство прошло, он впал в молчаливое тупое забытие. Казалось, в постели лежит набальзамированный

труп — бездыханный, застывший, но с яркой краской на лице.

На двадцать третий день тусклые, неморгающие глаза его засветились живым блеском. Удивленно-испуганным взглядом обвел он комнату, оклеенную розовыми обоями, беспокойно всмотрелся в строгое лицо сестры милосердия и вопрошающе изогнул брови. Остро укололи и вонзились тревожные мысли: где он находится и не обнаружилась ли его настоящая фамилия?

Однако у него хватило сообразительности, не задавая вопросов, сделать попытку получить разъяснения кружным путем. Да и на каком языке говорить с ней — по-датски или по-немецки?

Некоторое время он лежал молча, обдумывая, с чего начать. Сестра, не замечая его пробуждения, читала книгу.

Тогда он шумно поднялся с подушки, сел и, указав на столик у кровати, нечленораздельно промычал:

— Вам что-нибудь надо? — встрепенувшись, спросила сестра.

Услышав немецкую речь, он обрадованно кивнул головой и сказал:

— Воды немного, пожалуйста.

Глотая воду, Георг думал: теперь дальше.

Однако на то, чтобы двинуться дальше, ушло много часов. Голова работала слабо. Каждая мысль подолгу оставалась в ленивой неподвижности, точно в жаркий и душный полдень.

Перед вечером он еще раз осмотрел комнату и, обшарив глазами два угла, озабоченно произнес:

— Я не вижу своих вещей.

— Все в целости, — спокойно ответила сестра. — Сундук здесь! Вот он в углу.

— А деньги?

— Деньги в канцелярии.

Он недоуменно повторил:

— В канцелярии?

— Да, в канцелярии. Полиция составила протокол и передала деньги в распоряжение старшего врача. Вы во вся-

кое время можете...

Он самодовольно закивал головой. Пока все обстояло отлично: он в больнице. Вот только участие полиции — это не совсем приятно.

Оставалось узнать третье, самое существенное. Но сколько он не напрягал мысль, в этот день он уж ничего больше не мог придумать. И только на следующее утро, заметив на столе шкапчик телефонного аппарата для внутренних сношений, он оживился, замигал глазами и спросил:

— Нет ли для меня писем?

Сестра подозрительно скользнула по его лицу.

— Кажется, нет. По крайней мере никто не... Да и кто может знать ваш адрес?

— А вы справьтесь, — сказал он, указывая на ферофон.

— Справьтесь в канцелярии. Справьтесь.

Девушка хрустнула накрахмаленным халатом, повертела ручку и спросила в телефонную трубку:

— Нет ли писем для № 16-го?

Он сделал недовольную гримасу и сердито обронил:

— Так может быть ошибка. Вы назовите фамилию.

Сестра пожала плечами и снова сказала в ферофон:

— Будьте добры еще раз посмотреть, нет ли писем для г. Тумасова.

Георг быстро накинул одеяло на голову, чтобы сестра не видела, как он блаженно смеется.

Два следующих дня протекали в полном молчании. Он что-то обдумывал, вздыхал и тер себе лоб. После этого попросил сестру написать письмо.

Она принесла бумагу. Заметно напрягаясь, он продиктовал несколько слов, обращенных к Эриксену в Копенгаген. Он сообщил ему о своей болезни и настаивал на его приезде. Затем он подписался: «Георг Тумасов».

Когда письмо было готово, он нерешительно сказал:

— Теперь напишите наш адрес и название больницы, чтобы Эриксен знал, куда приехать. Можете это сделать так, чтобы я не видел

Девушка покачала головой.

— Никто от вас этого не скрывает. Вы не спрашивали, и я вам ничего не говорила. Не больше.

Он лукаво подмигнул ей. Это должно было означать: «Не хитри, я ведь отлично все понимаю».

И вот однажды утром появился Эриксен, согбенный, постаревший, с желтизной в сумрачных глазах. С нежным состраданием посмотрел он на Георга, присел к нему на кровать и после ничего не значивших растерянных слов со вздохом оказал:

— Да, произошло то, чего ни один человек в мире не мог ожидать. Никто.

Затем тревожно оглянулся, бросил недоверчивый взгляд в сторону сестры милосердия и дал ей ясно понять, что хочет остаться наедине с больным.

Сестра взяла со стола графин и бесшумно выплыла из комнаты.

— Нелегко мне было уехать из Копенгагена, — уныло произнес Эриксен. — За всеми нами зорко следят, потому что хотят разыскать тебя. Ведь объявлена награда — 100 тысяч! — за одно лишь указание, где ты находишься. И эти 100 тысяч — да, да! — соблазняют не только профессионалов-сыщиков, но и кое-кого из наших служащих. Да, да! Письма перлюстрируются. За каждым шагом идет непрерывная слежка. И вообще не жизнь, а сплошное страдание.

И дрогнувшим глухим голосом, в котором чувствовалась обида и накопившиеся слезы, старик продолжал:

— Мне не хотелось бы тебя огорчать, но... я должен это сказать тебе... наше дело идет ко дну. Приходится сознаваться в этом. Рядом со мной в кабинете теперь безотлучно находится правительственный комиссар. Без его подписи недействительно ни одно письмо, ни один ордер в кассу. Хотели было просто секвестровать все дело, но удалось отбиться. Самое плохое, однако, не в этом. Хуже всего то, что против нас все общественное мнение. Все рабочее. Все против нас. И нас бойкотируют. Нас называют врагами народа. И вот уже три недели, как нам не удается отправить ни одного судна, несмотря на то, что мы значительно понизили фрахты. А те суда, что приходят, нагружены только на-

половину: датские фирмы не дают нам ни одной тонны груза. Ужасно! ужасно! Нас избегают, как чумы. Время от времени в конторе выбивают стекла. И мы точно вне закона. А расходы, ты сам понимаешь, колоссальные. Кредиты в банках для нас закрыты. Я пытался наши бездействующие пароходы сдать в аренду другим фирмам — никто не берет. Даже за границей. В Америке еще хуже. Я говорю о Соединенных Штатах. Нашим судам там не позволяют отшвартоваться. И скажу больше: американская полиция сама предложила свои услуги нашей, чтобы общими силами тебя отыскать, заманить в Копенгаген и добиться от тебя каких-то показаний. Да, да! Я это узнал от своего верного друга. И вовсе не надо быть пророком, чтобы предсказать нашей конторе ее участь: через два-три месяца мы перестанем существовать. Ты подумай: мы перестанем существовать! Столько лет известности и финансового благополучия — и вдруг... У меня такое чувство, точно я истекаю кровью. У меня болит сердце, Георг. Только не пойми меня ложно. Я тут не себя жалею. Что я! Я и так зажился на свете. Но фирма! фирма!

И старик заплакал, беззвучно и жалко. Частые слезы его, скатываясь на опущенные седые усы, мерными каплями падали с их кончиков.

Георг же закрыл глаза и лежал неподвижно, как камень.

Втянув голову в плечи, Эриксен вытер платком усы и сокрушенно заметил:

— Я сделал все, чтобы спасти фирму. Все, что мог. Пользовался правдой и неправдой. В бессонные ночи иссушал свой мозг. Но уже ничто не спасет нас, конечно. Единственное, о чем я сейчас мечтаю, это... остаться при твердом сознании, что ты... что мы... что никто из нас не совершил ничего преступного. Для меня это стало самым главным. И вот поэтому... вернее, для этого... я и приехал к тебе, Георг.. Я хочу услышать из твоих уст правду. Я знаю отлично: мое желание причиняет тебе большие страдания. Вдобавок, ты и без того болен. Но все-таки, Георг. Во имя моей долголетней службы в деле твоих предков, ты дол-

жен мне сказать правду. После этого я отправлюсь умирать.

Георг молчал.

— Для меня будет большим удовольствием в последний раз созвать всех служащих (а к этому уже надо готовиться) и громко оказать им, что лица, стоящие во главе фирмы, со спокойной совестью уходят из дела, потому что никакого преступления они не совершили. Ты меня слушаешь, Георг?

Георг тяжело вздохнул. Эрикsei выжидающе посмотрел на него и тоже вздохнул.

— Я отправился сюда с большим для себя риском, — продолжал Эриксен. — Нисколько не сомневаюсь в том, что из Копенгагена за мной следовали по пятам. Но думаю, что мне удалось перехитрить соглядатаев. Из гостиницы я отправился к директору одного банка, а от него я вышел другим ходом и в его автомобиле я примчался на Потсдамский вокзал. Приехать к тебе еще раз — я вряд ли смогу. Иначе тебя немедленно обнаружат. И если ты намерен поговорить со мной на эту тему, говори сейчас. Пожалей меня, Георг. 64 года смотрят на меня с большой укоризной — убежать от сыщиков, хитрить, лгать... это... это... Ведь я все-таки Эриксен, долголетний директор крупнейшей транспортной фирмы.

— Дорогой Эриксен, — шепотом произнес Георг. — Мне сейчас трудно рассказывать обо всем. Кроме того, я думаю, что нас подслушивают. Когда-нибудь. Ну, через месяц. Сейчас у меня нет сил. Но только знайте, что никакого преступления против Дании я не совершил. Я даю вам честное слово, что это так.

С минуту он помолчал, а затем добавил, как бы думая вслух:

— Я совершил несколько ошибок, это верно. Но Дании эти ошибки не касаются. Ни с какой стороны. Одна из этих ошибок заключалась в том, что я родился последним.

Эриксен слушал его, притаив дыхание, и заметно волновался. Глаза его выражали недоумение, испуг и напряженность внимания.

— Значит, ты действительно имел отношение к этому... к этой истории с подводным островом?

— Да.

— А Америка?

Георг усмехнулся.

— Америка здесь ни при чем. Все это чепуха, выдуманная дипломатами.

— Но не один же ты это сделал?

— Нет, не один. Мне помогал Свен Гольм.

Эриксен с обидой в голосе изумленно повторил:

— Свен Гольм! Вот оно что. Так, так. Старая дружба. Дружба по наследству от бабушки. Так, так. Не от огорчения ли он, бедняга, внезапно умер? Недели три назад, как он умер.

Георг с ужасом посмотрел на него и снова закрыл глаза.

— Но когда же ты все это успел? — пожимая плечами, спросил Эриксен. — Ведь это же не шутка! И кто же это придумал? Ученые утверждают, что это гениальная вещь. Право, все это как-то не укладывается в моей голове. Непонятно, совершенно непонятно. Должно быть, я слишком стар для понимания таких вещей. И кроме того, я бы никак не мог предположить, зная тебя с детства, что... Ведь для всего этого надо быть инженером или, я уж не знаю...

Георг прервал его лукавой усмешкой.

— Успокойтесь, Эриксен. Не я это придумал. Не я. У меня была очень скромная роль: получить наследство и быть достойным наследником. Но опять-таки, это все потом. Сейчас нельзя. И не мучайте меня, Эриксен. Мне трудно. Знайте только, что никаких чертежей я Америке не продавал и с нею не сносился.

— Но ведь... это всем бросилось в глаза... ты же как раз перед тем, как... действительно ездил в Америку. На этом ведь и строились обвинения против тебя.

Георг вскочил, точно обожженный.

— Я? Я ездил в Америку? Кто это сказал? Она? Эта... Вздор! Этого никогда не было. Никогда. Это надо вычеркнуть.

Но затем он потер себе лоб, виновато взглянул на Эрик-сена и растерянным тоном тихо пробормотал:

— Не будем об этом говорить. Это вторая ошибка. Но только против Дании ничего не было сделано. Ничего. Наоборот: все делалось во имя Дании. А начало всему положил не я. Это сделал первый из Ларсенов. Петер Ларсен. Не мой отец, а мой прапрадед.

— И бабушка Зигрид тоже обо всем знала?

— Она все знала и во все посвятила меня.

Эриксен скрестил руки на груди и восторженно обронил:

— Удивительно. Прямо удивительно. И столько лет все это держалось в тайне. Я бы никогда не поверил, что...

Он пожал плечами, пристально всматриваясь в худое, бледное лицо Георга, точно видел его впервые. После этого он встал и прошелся по комнате, заложив руки за спину.

Его фигура заметно выпрямлялась.

## XX

— Если это так, Георг... — сказал он, останавливаясь перед его изголовьем. — Я хочу сказать, если твои указания противоречат всему тому, что писалось и еще пишется в газетах, то следовало бы тебе выступить с возражениями. Да, да! Ведь это могло бы тебя хоть несколько реабилитировать. Пусть на три четверти не поверят (так оно, к сожалению, и будет, потому что легенду труднее всего опровергнуть). Но кое-что останется и в твою пользу. Да, да! Все-таки легче.

Георг кивнул головой, приподнялся и сел. Его ужасающая худоба проступала через шелк пижамы.

— Для этого я вас и просил приехать ко мне, — сказал он с лукавым видом. — Я очень рассчитываю на вашу помощь, дорогой Эриксен. Мне одному трудно. Я... я хочу написать книгу. Обстоятельную книгу. В ней я хочу рассказать, как все это было. От начала до конца. И о первом Лар-



сене и об Иваре Ларсене и о бабушке Зигрид. Я ничего не утаю, потому что нечего утаивать. Все было чисто и благородно.

От усталости он замолчал.

Эриксен поощрительно заметил:

— Это прекрасная мысль. Это очень хорошо. Ты реабилитируешь всю фирму. Но только, что же я могу сделать? Чем я могу тебе помочь? Что же я?

С угрюмой монотонностью Георг продолжал:

— Ваша помощь может быть двоякого рода. Мне писать трудно. Да и пожалуй, я не смогу. Это ведь надо уметь. Подыщите мне какого-нибудь скромного журналиста. Только такого, который бы не оказался предателем. И пришлите его сюда. Я ему все расскажу. Он тут же при мне будет писать. Тут же. А второе — это... это...

Он закрыл ладонью лицо, и голова его поникла.

— Второе... Я забыл, что хотел сказать. Только что это пронеслось передо мной. Что же я имел в виду? Погодите.

С тревогой посмотрел на него Эриксен и нахмурил брови.

Чтобы восстановить течение мыслей, Георг вслух повторил:

— Написать книгу. Подыскать журналиста. Я ему расскажу. Он тут же при мне будет писать.

И, с ужасом взглянув на Эриксена, он шепотом воскликнул:

— Эриксен, мне все время кажется, что у меня откровали кусок черепа! И я потерял память! И значит, я не вспомню, как это все было. Я не смогу написать книгу! Эриксен! Тогда все кончено для меня!

Старик подошел к нему совсем близко, заглянул ему в глаза, потускневшие от отчаяния, и голосом твердым, уверенным, чуть-чуть насмешливым обронил:

— Ну, все это пустяки. Это самовнушение. У тебя все на месте. И ты даже превзошел себя. У тебя явилась прекрасная мысль. Книга, которую ты выпустишь в свет, несомненно...

— Погодите, Эриксен! — задыхаясь, перебил его Георг. — Я вспомнил. Я хочу ее выпустить в свет на нескольких языках. На датском — это само собой разумеется. Но еще по-немецки. По-французски. По-английски. И пусть книга попадет в Норвегию. Непременно. Для всего этого нужны деньги: и переводчикам заплатить и издательствам. Большие деньги. У меня не найдется такой суммы. К тому же все мои деньги у старшего врача. А он...

Георг заткнул уши пальцами и торопливым, заговорщицким шепотом продолжал:

— Он ни за что не выдаст мне денег. Его контролирует полиция.

Эриксен удивился. Три поперечные складки упали на его лоб.

— При чем же здесь полиция? Какие же могут быть основания у полиции?...

Георг смутился и поспешил замять эти слова.

— Ну, не будем. Не надо. Я хотел сказать, что старший доктор чересчур педантичен. Да. Так вот. Для этого нужны деньги. И вы, Эриксен, должны мне достать их. Должны. И еще взять на себя хлопоты по изданию. Я один не могу. Ведь это надо устроить в разных странах.

Эриксен засунул руки в карманы, склонил голову набок, и в глазах его засветился тот жадный деловой огонек, который всегда зажигался у него, когда речь заходила о выгодной сделке. Но в таких случаях он дипломатично хранил полное молчание, предоставляя собеседнику высказаться до конца, чтобы хорошенько использовать все соображения его. Тут же не нужна была никакая дипломатия, и, мгновенно оценив мысль Георга, он с молодой восторженностью сказал:

— А ты еще говоришь: откромсали кусок черепа! У тебя, дорогой мой, родилась блестящая идея и только... как бы это сказать... роды тебя утомили. Да, да! Ты, вероятно, сам не понимаешь, что ты придумал. Блестящая мысль! Спасительная мысль!

Георг испуганно посмотрел на него.

— Блестящая мысль, говорю я. Уж ты мне поверь. Эту книгу будет читать вся Европа. Да что я говорю — вся Америка! Ее это касается больше. Ты все еще не понимаешь? Ну да, так, всегда бывает: тот, у кого явилась удачная идея, тот меньше всего разбирается в ее ценности. Мой милый мальчик, ты спасешь фирму, ты реабилитируешь себя и ты прославишься на весь мир.

— Это не важно, — с досадой простонал Георг. — Как же вы не понимаете! Мне нужно, чтобы у меня была спокойная совесть перед предками.

— Да, да! Благополучие фирмы — это и есть спокойная совесть перед предками. Фирма снова процветет. Потому что, с одной стороны, она вернет к себе прежнее доверие, а с другой, ты хорошо заработаешь и вольешь в дело свежие деньги.

— Я? Каким образом? — с гадливостью спросил Георг. — О чем вы говорите?

— Ты все еще не понимаешь?

Эриксен развел руками.

— Нет, ты действительно еще мальчик! Мой милый друг, 5 миллионов экземпляров твоей книги я тебе гарантирую. Германия, Франция, Англия, да что я говорю: одна Америка чего стоит! Гарантирую! Это нам даст чистоганом не меньше миллиона. Не меньше. Надо только действовать с умом. И какая широкая слава для фирмы! Хо-хо! Ты наткнулся на золотую жилу — и она спасает все. Все она спасает! Остается только написать эту книгу. А об остальном уж я сам позабочусь. Да, да! И никаких денег для издания не нужно. Издатели сами предложат нам свои услуги, как только узнают о том, что ты что-то написал. А уж я постараюсь, чтобы они узнали. Можешь на меня положиться.

Радостно взволнованный, он заходил по комнате, улыбался и водил бровями... Опьянение веяло у его глаз.

— Журналиста... — сказал он про себя. — Вот это труднее. Прежде всего, нет такого журналиста, который бы, узнав о твоём местонахождении, не протелеграфировал бы моментально в свой газету, чтобы доставить ей первоклассную сенсацию. Одновременно он захочет получить обе-

щанные 100 тысяч и сообщит о тебе копенгагенской полиции. Нет, нет. Журналистов, умеющих хранить тайну, не существует.

Он призадумался и сказал:

— Мы лучше сделаем так. У меня есть племянник. Он только что окончил университет. Он филолог. Намерен заняться литературным трудом. Уже что-то такое написал. И говорят, неплохо. Молод, скромен и не жаден. В силу родственных отношений, мне нетрудно будет убедить его молчать до конца. И вообще, я за него отвечаю. Можешь его поселить тут же или поблизости. Его поездка сюда не привлечет внимания. Это не то, что едет журналист: зачем, куда? Отлично, так и будет. И это еще тем удобно, что переписываться с тобой я смогу через него.

И снова он бросил восторженно:

— Нет, верно! чудесная идея! Прямо-таки чудо! Да, да! Я ехал сюда с мыслью о смерти. Я возвращаюсь с чувством воскрешения из мертвых. Думаю, что...

Георг, уставший от шумной говорливости Эриксена, резко перебил его:

— Поговорим о других вещах. Какие новости? Не знаете ли чего-нибудь о моих друзьях?

— О твоих друзьях? К сожалению, ничего не знаю. У меня все время голова шла кругом... Я...

— О Шварцмане, например.

— Ты говоришь об этом надоедливом еврее? Неужели это твой друг? Он два раза звонил ко мне и два раза заходил в контору. И как раз в самое неудобное время. Что за беспокойное племя! Он все допытывался узнать, где ты. При этом много и напыщенно говорил. Он уверял меня, что с тех пор, как тебя клюют и клянут на всех перекрестках, ты стал для него безмерно дорог. Потому что всякий страдающий — его брат. И все в таком же роде. Откровенно говоря, он очень утомителен, и я не понимаю...

Георг не дал ему закончить и сказал:

— Я люблю Шварцмана. Не отзывайтесь о нем дурно. А не слышали ли вы чего-нибудь о Магнусене?

— Магнуеен... Магнусен... Фамилия эта всего только на днях попалась мне на глаза. Магнусен...

Эриксен потер себе переносицу.

— Магнусен. Не о том ли Магнусене ты спрашиваешь, на векселе которого ты поставил свое жиро? Вексель этот был предъявлен нам к оплате, потому что Магнусен умер. Или нет: он застрелился. Где-то в Норвегии. Да, да! Застрелился в Норвегии.

Георг едва заметно улыбнулся, но ничего не сказал.

— А о Карен Хокс вы ничего не знаете? — тихо спросил он и отвернул лицо к стене.

— О, эта ловкая женщина превосходно использовала знакомство с тобой. Это штучка! Я читал в газетах, что она сейчас в Париже и выступает в каком-то театре. Афиши и газеты именуют ее спасительницей Европы. (Ты, конечно, знаешь, в чем дело.) Чего еще надо актрисе?

Перед тем, как уйти, Эриксен вернулся к своему плану прислать сюда племянника, условился насчет рукописи, а затем, прощаясь, сказал:

— Ну, Георг. Ты меня успокоил и утешил. Спасибо тебе. Ты и представить себе не можешь, как меняется все положение. И признаюсь откровенно, ты вырос в моих глазах вдвое. Ты достойный внук Зигрид Ларсен. Твоя идея гениально разрешает все вопросы. Поздравляю и тебя и себя. Да, да! Мы будем жить. И не могу обойти молчанием одну удивительную вещь, которая сейчас мелькнула у меня в голове. Над этим стоит призадуматься. Твой отец всю жизнь стремился приобрести известность. Чего он только не делал ради этого. По-моему, он и погиб из-за желания побить все автомобильные рекорды. Ты же меньше всего, кажется, думал о славе, и она придет к тебе без всяких усилий с твоей стороны.

Через несколько дней приехал племянник Эриксена — розовый, молодой, энергичный юноша. Он тотчас же взялся за работу. Сначала он стенографически записал все, что рассказывал ему Георг, а затем стал обрабатывать главу за главой. Георг внимательно просматривал черновики и делал поправки.

Когда книга уже близилась к концу, молодой Эриксен написал своему дяде:

«Вероятно, через неделю я привезу готовую рукопись. Своей работой я очень доволен, и думаю, что книга будет читаться с большим интересом. Она полна высокого напряжения и величавой простоты. Успех ее обеспечен. Меня только огорчает автор ее. Встречаясь с ним ежедневно, я могу с уверенностью сказать, что его сумасшествие теперь не подлежит никакому сомнению. Я, разумеется, не могу определить, к какому разряду оно относится, но одна из его маний мне достаточно ясна — мания преследования. Он необычайно хитер, подозрителен и умеет притворяться. Ему кажется, что он окружен предателями. (Главнейший из них живет в Париже, и Георг готовит ему какую-то позорную казнь.) Пять или шесть раз я должен был клясться перед ним, что не выдам ни его пребывания, ни его намерения издать книгу. Однажды он серьезно спросил меня, надежно ли то место, где хранится рукопись и нет ли поблизости взрывчатых веществ. И в то же время в его повествовании о предках я не обнаружил ни одной погрешности ни против логики, ни против здравого смысла. Впрочем, это не только мое мнение. Ухаживающая за ним сестра милосердия сообщила мне, со слов врача, что больной вряд ли так скоро выйдет из клиники. И когда я стал допытываться, что у него за болезнь, она, долго уклоняясь от ответа, под конец сказала: по секрету сообщу вам, что он неизлечим».

## XXI

Шесть лет спустя на бульваре Лангелиниен, выходящем к морю, был воздвигнут бронзовый памятник, изображавший хмурого человека с тяжелой упорной мыслью в глазах. На нем был редингот и двубортный жилет, доходивший до самой шеи. Голова этого человека была повер-

нута на Запад. У ног его скульптор изваял морские волны, так что казалось, будто хмурый человек стоит на воде.

На гранитном цоколе памятника золотилась надпись: «Петеру Ларсену, великому патриоту и гениальному изобретателю». Вокруг памятника были разбиты три цветочные клумбы, обнесенные изгородью из полипняка. Между ними весело разбегались дорожки, усыпанные ярко-желтым песком, тем самым, о котором мечтал пьяненький инженер Трейманс.

## *Приложения*



П. Пильский

## МЕЧТА

О романе В. Я. Ирецкого «Наследники»

Мечта, пронесенная через ряд жизней, перешедшая от прадеда к деду, потом к отцу, наконец, к свидетелю ее мрачного торжества Георгу Ларсену; патриотическая мечта, упорно, холодно и тайно осуществлявшаяся в течение целого века, романтическая мечта, становящаяся делом, построенная на точном знании и бесстрастных выкладках; мечта, переходящая в теорию, потерявшая свой первоначальный блеск, облекшаяся в серые одежды труда — вот тема, захватившая В. Ирецкого, увлекшая его беллетристическую мысль. Трудная тема.

Почему, — скажу потом. Сначала о сюжете.

Он прост и сложен. Пруссия отрезала Шлезвиг и Гольштеину, маленькая Дания стала еще меньше. В сердце Ларсена проснулся протест. Нужно что-то сделать, что-то сотворить, кому-то отомстить. У творчества, как и отомщения, играет воображение. Они питаются фантазией. И в лице чудаковатого инженера Трейманса Ларсен неожиданно находит указание пути: течение Гольфстрема можно разбить, — пусть безжалостно замерзает Европа! Устроить волнорез, построить остров, создать твердь среди океана, — тупоугольный треугольник, обращенный своим острием к Флориде. Об этот остров ударится течение, — ударится и разобьется. И тогда Гренландия зацветет.

План грандиозен, а Ларсен слишком трезв и практичен. Но крупные планы, большие мысли, смелые проекты имеют таинственную и покоряющую власть. Мир принадлежит любви и фантастике.

Отныне все мысли Ларсена направлены в эту сторону, на осуществление грандиозного проекта.

Еще одна случайная встреча — и фантазия получает реальные очертания. На пароходе Ларсен столкнулся с Фаринелли. Будто самой судьбе было угодно, чтоб беседа наткнулась на таинственную работу полипняков, вырастающих на окаменелых группах бесчисленных поколений кораллов, строящих в глубине морей свои причудливые сооружения — символ человеческих трудов и

дел, бессознательно развивающихся и ширящихся в исторической преемственности.

Итак, путь найден. Надо действовать.

Ларсен осуществляет первый опыт, — его продолжают потомки. И на всем протяжении романа, из поколения в поколение, переходя от отцов к детям, тихо, в большом секрете, начинает свершаться странная и дерзкая мечта, захватывая мысль, дни, работу мужчин, женщин, вовлекая в свой круг и русских, захваченных этим гипнозом целого рода.

С самого начала угадывается финальная катастрофа. Развязка должна быть печальна. Последний Ларсен, Георг, сходит с ума, сраженный осуществившейся мечтой, возгоревшейся войной между Европой и Америкой из-за отведенного Гольфстрема, страшными обвинениями, павшими на его голову «врага мира», растерянный и оскорбленный в своей любви к предательнице Карен Хокс.

Вместо торжества победителя, свидетеля осуществленной мечты, пришло одинокое безумие, сбылось древнее предостережение: «И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: "семени твоему дам ее". Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень».

Так случилось и тут. Тот, последний Ларсен, кто уже мог вступить на эту землю, как победитель, погиб. Тот, первый Ларсен, кому воздвигли на гранитном цоколе памятник, украшенный золотой надписью, его не увидел. Произошел акт великой несправедливости. В своей жестокости жизнь и на этот раз оказалась нелогичной, забыв усилия целых поколений, не оценив ни трудов, ни затрат энергии, ни напряжения мозга, ни пламенной преданности великой мечте.

И по этому поводу стоит поговорить о нелогичностях, их роли в действительности и в романе.

По всем его страницами разлита как раз строгая и точная логичность. Весь характер дарования В. Ирещкого тоже очень логичен. Он глубоко верит в силу последовательности. Только поэтому можно было решиться выбрать такую трудную тему.

Ее главная трудность — во внешнем однообразии. Чтобы на протяжении сотни страниц следить и вести беспокойное читательское внимание за неторопливым развитием темы и замысла, нужно хранить в своей душе большие упования на неутомимость этого читателя, с одной стороны; на его постоянную заинтере-

сованность в логике, с другой; на свою собственную силу захвата — в-третьих.

В конце концов, романисту это удалось. Скука здесь не расцелась по креслам, и ее страшного лица не чувствуешь ни в одном, даже затененном углу.

И все-таки, здесь несомненное преодоление. В. Ирецкий преодолевал основную ошибку своего романического плана. Ему удалось оседлать и взнуздать логику. На этот раз она его вывезла. Скажем прямо: это — случайность, притом несправедливая и даже противоестественная.

Вот в чем здесь сейчас же надо признаться.

Сама жизнь может быть и особенно всегда кажется логичной. Этот вывод делается нашим умственным аппаратом, т. е. нашей формальной логикой, желающей найти и в цепи жизненных случайностей какую-то заманчивую последовательность. Так совершается акт нашего самоутешения. Этим удовлетворяется наша потребность в некотором порядке и вера в то, что он действительно существует.

Совсем иные задачи должен бы преследовать романист. Для него существуют другие утешающие радости. И для себя, и для своего читателя он должен искать радости не логики, а внезапности, неожиданности, сюрпризов.

У Тургенева Пигасов говорит, что, по логике женщин, дважды два не четыре, а стеариновая свеча. Но такому умножению должен научиться каждый романист. Только это отличает его от фотографического изобразителя.

Словом, в самой жизни все части разбросаны, растрепаны и разъединены. Они лежат и существуют в беспорядке. Во имя успокоения и обольщения самих себя, мы их выравниваем и выстраиваем в логические ряды, и, пораженные неожиданным следствием, отыскиваем его простую и ожидаемую причину.

Совершенно обратное должно происходить в романе.

Тут все части, все главы, все отдельные эпизоды сведены в образцово построенные группы, весь план создан гармонично, в полном соответствии, в полном архитектурном равновесии своих сторон и деталей.

Логика может быть удовлетворена.

Но внутри романа должны происходить неожиданные и соблазнительные чудеса, должна царить нечаянная радость, волновать капризная нелогичность, светить не истина «четырех», а мигающий и греющий свет стеариновой свечи.

Это почувствовал и сам В. Ирецкий.

Вторая часть романа совершенно не похожа на первую. Ровный ход логического повествования, этот ряд биографий, вдруг сменяется нетерпеливым и быстрым темпом разгорающегося рассказа о неожиданных делах, неожиданных происшествиях, неожиданных страстях, приводящих к неожиданной развязке.

Роман начинается во второй части.

Первая — пролог. Здесь только устанавливаются цели, здесь вычерчивается лишь план. Все истинно романическое дальше: влюбленная увлеченность Ларсена опереточной певицей Хокс, внезапное известие от Свена, путешествие в Америку, великолепные видения айсбергов, побег и предательство Карен, крах фирмы, отъезд Ларсена, война Европы с Америкой, конец коралловой мечты, создание гениальной книги о таинственной работе многих поколений, чтоб отвести Гольфстрем, неизлечимое безумие главного героя, самоубийство Магнусена и т. д., и т. д.

Охваченный пыланием, увлеченный разнообразием тем и лиц, разгораясь в своем спешном ходе, к концу роман заторопился, забунтовал, заиграл красками, заулыбался в своем интригующем вымысле, расстался с логичностью, разодрал все свои занавеси, перевернул мебель и, счастливо забыв последовательность, как-то нервно, как-то сладко развернулся и затрепетал скудным блеском, — обычным блеском В. Ирецкого, сухой и, в то же время, отчетливой ясностью, чуть-чуть сумеречными тонами, стальными и багряными, тихими тонами осени, когда реют очаровательные сказки, очаровательные дни, и их не разрушают даже самые скорбные, самые мрачные афоризмы о женской душе, о напрасных жертвах любви, о всем не вечном на земле, о тайне и человеческом безумии, и еще о том, что нет справедливости и нет наград ни за труды, ни за мечты, если б их хранили и взращивали даже целые поколения, нет наград и за жертвенность.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

<...> Если, не без некоторых колебаний, примешь, сочтешь правдоподобным, что такой идеей, во имя патриотизма, мог заречься предок Ларсен, то вся летопись о его потомках становится уже неотразимо убедительной. С большим искусством сочетал в ней В. Ирецкий момент идеи с моментом эротическим; и течение Гольфстрема играет в романе не только свою географическую и метеорологическую роль, — оно и символично, оно воплощает собой силу страстных желаний. На этом фоне — яркой кистью выписанные картины и фигуры, много острого, меткого, смелые и волнующие неожиданности, ряд содержательных биографий; освещена серьезность и существенность человеческих судеб, показаны психологические глубины, есть человеческое и трогательное. Пользуясь выражением самого автора, скажем, что «широко раскрытым веером» раскинул он участь своих героев и героинь, красиво изобразил явления природы (айсберги, например) и сумел в фабулу, как он сам говорит, «жюль-верновскую», вплести нити почти философского характера. Его роман умен. Даже излишне подчеркнута здесь интеллигентность и образованность: немало фактических знаний требует от своего читателя осведомленный писатель. Оригинальны иные образы — например, «еврейский Вольтер» Шварцман.

В общем, есть у «Наследников» своя, особая, опять-таки интеллигентная физиономия. Над пустой беллетристикой высоко поднимается это серьезным звуком звучащее произведение. Оно заставляет думать. Оно обладает не только художественной, но и нравственной силой, поучая тому, что каждый человек не «цель», а «мост», живой переход к дальнейшему, тот, кто подобно Моисею сам не войдет в обетованную землю, но кто обязан блюсти верный ход жизненных часов и тщательно заводить их, и неостановившимися передавать их очередному наследнику.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Все тексты публикуются по первоизданиям с исправлением очевидных опечаток и отдельных устаревших особенностей орфографии и пунктуации. В оформлении обложки использована работа Ф. Мазереля.

Источники:

Ирецкий В. Наследники: Роман. Berlin: Polyglotte. 1928

Пильский П. Мечта: О романе В. Я. Ирецкого «Наследники» // Сегодня (Рига). 1928. № 258, 23 сентября.

Айхенвальд Ю. Литературные заметки // Руль (Берлин). 1928. № 2340, 8 августа.

## ОБ АВТОРЕ

Виктор Яковлевич Ирецкий (наст. фам. Гликман) родился в 1882 г. в Харькове. Сын врача, воспитывался отчимом, инженером-путейцем. В 1893-1901 гг. учился в реальном училище в Белостоке. В 1901 г. поступил на агрономическое отделение Киевского политехнического института, но уже в феврале 1902 г. был отчислен за участие в студенческих беспорядках и после двух месяцев ареста поступал вновь. Пробыл в институте до сентября 1905 года, курса не окончил. В 1906-1908 гг. был вольнослушателем юридического факультета Петербургского университета, в 1911-1915 гг. посещал лекции в петербургском Археологическом институте — занятия эти сказались впоследствии в рассказах сборника *Граюры*.

Публиковаться начал в первые годы XX в. в провинциальной прессе, в том числе в *Киевской газете*, с 1906 г. выступал с библиографическими и критическими заметками в газете *Речь*, одновременно там же и в других периодических изданиях (*Современный мир*, *Новая жизнь*, *Вестник Европы*) публиковал рассказы. В 1910 г. на конкурсе Общества любителей российской словесности был награжден Гоголевской премией, с тех пор активно печатал в тонких журналах (*Искорки*, *Волны*, *Солнце России*) любовные, юмористические, военные рассказы, в 1915 г. выпустил сборник рассказов *Суета*.

После Февральской революции Ирецкий взял интервью у вел. кн. Николая Михайловича, опубликовал его письмо Николаю II с предупреждением о грозящей катастрофе; по материалам архива Департамента полиции составил и выпустил в 1917 г. брошюры *Романовы: (Сколько они нам стоили)* и *Охранка: (Страница русской истории)*. После Октябрьской революции был членом исполнительного комитета Дома Литераторов, заведовал его библиотекой, сотрудничал в журналах *Летопись Дома Литераторов* и *Вестник литературы*, опубликовал рассказы в сборниках *Северное утро*, *Петербургский сборник: Поэты и беллетристы*, *Собачья доля* (все — 1922). В 1921 г. вышел сборник *Гравюры*, вызвавший гнев большевистской критики.

Осенью 1922 г. Ирецкий был арестован ГПУ, затем было принято решение о высылке его в Германию. Жена писателя, психолог Е. В. Антипова (1892-1974) выехать с мужем отказалась, ссылаясь на важность работы в детском распределителе Наркомпроса в Петро-

граде, однако сумела добиться для Ирецкого двухнедельной отсрочки.

Оказавшись в Берлине, Ирецкий деятельно включился в литературную жизнь эмиграции, в 1923 г. совместно с Б. О. Харитоном редактировал журн. *Словохи*. Публиковал рассказы и очерки в периодике Берлина, Риги, Нью-Йорка (особенно заметным было его участие в рижской газете *Сегодня*).

В 1924 г. Е. В. Антипова с пятилетним сыном Даниилом (1919-2005) выехала к мужу в Берлин. Но совместная жизнь не сложилась: уже через год она отправилась в Швейцарию к своему учителю Э. Клапареду, работала в Институте Ж.Ж. Руссо, в 1929 г. по приглашению правительства Бразилии выехала в эту страну, где стала всемирно известным психологом и педагогом (Ирецкий откликнулся на ее отъезд горько-ироническим рассказом *Кафедра*).

В 1925 г. вышел фантастический роман Ирецкого *Похитители огня*, за ним последовал НФ-роман *Наследники* (1928). Любопытно, что последний роман был также опубликован в России московским издательством «Пучина» под названием *Завет предка* и именем Я. Ириксон как якобы авторизованный перевод с датского. В 1930 и 1931 гг., соответственно, выходят романы Ирецкого *Холодный уголь* и *Пленник*; в Берлине также были опубликованы фантастическая пьеса *Мышеловка* (1924) и сборники рассказов *Коварство и любовь* (1936) и *Она* (1937).

Последние годы жизни Ирецкого прошли под знаком разгула нацизма (которому он посвятил немало гневных очерков); в герое рассказа *Агасфер* (1934) и его желании найти прибежище в Палестине читаются автобиографические нотки. Ирецкий много болел, умер от туберкулеза в Берлине 16 ноября 1936 г. Его архив, переданный после смерти в Русский заграничный исторический архив в Праге, после 1946 г. и передачи РЗИА в СССР (фактически — насильственного изъятия) долгие годы находился в спецхране, ныне хранится в РГАЛИ.



## Оглавление

В. Ирецкий. Наследники	5
------------------------	---

### *Приложения*

П. Пильский. Мечта	241
--------------------	-----

Ю. Айхенвальд. Литературные заметки	245
-------------------------------------	-----

Примечания	246
------------	-----

Об авторе	247
-----------	-----

# POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурнообразовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.